

Министерство наивысшего счастья

Автор:

Арундати Рой

Министерство наивысшего счастья

Арундати Рой

От лауреата Букеровской премии

Первый за двадцать лет роман Арундати Рой приглашает нас в далекое путешествие – из тесных кварталов Старого Дели и сияющего нового мегаполиса к снежным вершинам и долинам Кашмира и лесам Центральной Индии, в края, где война – это мир, а мир – это война.

«Министерство наивысшего счастья» – это история мучительной любви и решительного протеста. Рассказ ведется то шепотом, то во весь голос, то сквозь слезы, а порой и со смехом. Герои его – сломленные миром люди, которые были спасены и излечены любовью и надеждой. И потому они столь же тверды, сколь и хрупки, и никогда не сдаются.

Арундати Рой

Министерство наивысшего счастья

Посвящается Безутешным

Arundhati Roy

The Ministry of Utmost Happiness

Серия «От лауреата Букеровской премии»

Перевод с английского Александра Анваера

Издание публикуется с разрешения Susanna Lea Associates и Synopsis Literary Agency

© Arundhati Roy, 2017

© Анваер А., перевод, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

В тот волшебный час, когда солнце уже зашло, но свет еще не померк, с огромного баньяна, растущего на старом кладбище, срываются мириады крыланов с острыми лисьими мордочками и черным дымом проносятся над городом. Когда крыланы скрываются из вида, в листве обосновываются на ночлег вороны. Гвалт вернувшихся домой ворон не в состоянии до краев заполнить безмолвие, вызванное отсутствием пропавших невест куда воробьев, а еще белобоких грифов, бывших попечителями мертвых тел последние сто миллионов лет. Эти были уничтожены. Грифы вымерли, отравленные диклофенаком. Диклофенак, коровий аспирин, которым кормят коров для снятия боли, мышечного напряжения и увеличения надоев, действует – действовал – на грифов как нервно-паралитический газ. Каждая молочная корова или буйволица с расслабленными диклофенаком мышцами становилась после смерти отравленной приманкой для белобоких грифов. По мере того как коровы превращались в машины по производству молока, по мере того как город поглощал все больше мороженого, ирисок, вафель с ореховой пастой и молочного шоколада, по мере того как он выпивал все больше мангового

молочного коктейля, шеи грифов клонились книзу, не в силах удерживать на весу головы. Казалось, птицы очень устали и невольно засыпают. Из клювов стекали серебристые струйки слюны, а потом птицы, одна за другой, замертво падали с ветвей вниз.

Немногие заметили исчезновение дружелюбных старых птиц. У людей так много других забот.

1. Где умирают старые птицы?

Я имею в виду, все зависит от твоего сердца...

Назым Хикмет

Она жила на кладбище, как дерево. На рассвете она прощалась с воронами и радушно приветствовала вернувшихся крыланов. На закате приветствовала первых и провожала вторых. В промежутках беседовала с тенями грифов, таящимися в ее высоких ветвях. Она ощущала деликатное прикосновение их когтей, как ощущают боль в ампутированной конечности. Каким-то шестым чувством она догадывалась, что грифы не слишком сожалеют о том, что им пришлось откланяться и сойти со сцены.

Когда она впервые поселилась здесь, ей пришлось несколько месяцев испытывать на себе все повседневные жестокости, но она перенесла их, как дерево, стойко. Она не оборачивалась, чтобы посмотреть, что за мальчишка швырнул в нее камень, она не вытягивала шею, чтобы прочесть непристойное оскорбление, нацарапанное на ее коре. Когда люди обзывали ее обидными прозвищами – клоуном без цирка и царицей без дворца, она пропускала их сквозь свои ветви, словно это был ветер, и прислушивалась к музыке листвы. Этот шелест действовал как целительный бальзам и смягчал боль.

Только после того, как Зияуддин, старый слепой имам, который когда-то возглавлял молитвы в Фатехпури-Масджид, подружился с ней и стал регулярно ее навещать, окрестные жители решили, наконец, оставить ее в покое.

Давным-давно один человек, который знал английский, сказал ей, что если написать ее имя (по-английски) задом наперед, то получится Majnu, то есть Маджнун. Тот человек говорил, что в английском пересказе легенды о Лейле и Маджнуне Маджнуна звали Ромео, а Лейлу – Джульеттой. Она нашла это забавным. «Ты хочешь сказать, что я – кичри[1 - Кичри – пряное индийское блюдо. В данном случае имеется в виду нечто сущностное, главное.] этой истории? – спросила она. – А что они сделают, если вдруг обнаружится, что Лейла на самом деле была Маджнуном, а Роми – Джули?» Когда Человек-Который-Знал-Английский пришел к ней в следующий раз, он признал, что ошибся. Если написать ее имя задом наперед, то получится Mijna – Муджна, а это слово вовсе даже и не имя и не значит ровным счетом ничего. На это она ответила: «Это совершенно неважно. Во мне существуют все они. Я – Роми и Джули, я – Лейла и Маджнун. И Муджна – почему нет? Кто сказал, что мое имя Анджум? Я не Анджум, я – Анджуман, я – мехфиль, собрание, единение – всего и ничего, всех и никого. Не хочешь ли ты позвать к нам кого-нибудь еще? Я приглашаю всех».

Человек-Который-Знал-Английский сказал, что это очень умная мысль и сам он ни за что бы до нее не додумался. На это она заметила: «Как бы ты мог это сделать с твоим знанием урду? Неужели ты думаешь, что английский автоматически делает тебя умным?»

Он рассмеялся, она рассмеялась в ответ. Он угостил ее сигаретой с фильтром и пожаловался, что «Уиллз неви кат» слишком короткие и не стоят тех денег, каких за них требуют. Но она сказала, что предпочитает их сигаретам «Фор сквер» или очень мужским «Ред энд уайт».

Теперь она уже не помнит его имени. Возможно, она никогда его и не знала. Он ушел – Человек-Который-Знал-Английский, – ушел туда, куда должен был уйти. Она же осталась жить на кладбище за государственным госпиталем. Компанию ей составлял железный шкаф марки «Годредж»[2 - Индийская мебельная фирма.], где хранилась ее сокровенная музыка – поцарапанные пластинки и изношенные магнитные ленты, а также старая фисгармония, одежда, драгоценности, сборники стихов, фотоальбомы и несколько газетных вырезок, переживших пожар в Кхвабгахе, Доме снов. Ключ висел у нее на шее, на черном шнурке, вместе с изогнутой серебряной зубочисткой. Спала она на потертом персидском ковре, который днем запирала в шкаф, а вечером расстилала между двумя могилами (она никогда не стелила его в одном и том же месте две ночи подряд – это была ее невинная шутка). Она продолжала курить матросские

«Неви кат».

Однажды утром, когда она, как обычно, читала старому имаму вслух газету, он, очевидно, не слушая, спросил как бы между прочим: «Истинно ли, что даже некоторых индуистов не сжигают, а хоронят в земле?»

Ответить было трудно, и она помедлила.

«Истинно? Что значит истинно? Что такое вообще Истина?»

Не желая отклоняться от выбранной цели, имам механически ответил: «Сач Худа хай. Худа хи Сач хай». (Истина есть Бог, и Бог есть истина»..) Однако эта мудрость начертана на половине раскрашенных красками грузовиков, с ревом несущихся по скоростным шоссе. Имам прищурил свои слепые, зеленые от глаукомы глаза и спросил коварным, зеленоватым шепотом: «Скажите мне, люди, где вас хоронят, когда вы умираете? Кто обмывает ваши тела? Кто произносит молитвы?»

Анджум долго молчала, не отвечая на вопрос имама. Потом она наклонилась к нему и произнесла: «Имам-сахиб, когда люди говорят о цветах – красном, синем, оранжевом, когда они описывают небо на закате или восход луны в Рамадан – какие мысли и чувства возникают у тебя?»

Глубоко, почти смертельно, ранив друг друга, они продолжали сидеть рядом на чьей-то залитой солнцем могиле и молча истекали кровью. Первой тишину нарушила Анджум.

«Это ты должен мне сказать, – произнесла она. – Это ты – имам-сахиб, а не я. Где умирают старые птицы? Падают ли они нам на головы с неба, словно камни? Спотыкаемся ли мы на улицах об их тела? Разве ты не думаешь, что Всевидящий и Всемогущий, поместивший нас на эту землю, позаботился и о том, чтобы пристойно обставить наш уход?»

В тот день визит имама окончился раньше обычного. Анджум смотрела, как он уходит, отчетливо стуча своей белой тростью, нащупывая безопасный путь между могилами. Кончик трости звенел, натыкаясь на пустые бутылки и выброшенные шприцы, раскиданные по дорожкам кладбища. Анджум не пыталась его остановить, ибо знала, что он вернется. Как бы тщательно кто ни

скрывал свое одиночество, она всегда узнавала его с первого взгляда. Она чувствовала, что по каким-то непостижимым причинам старому имаму нужна ее тень, а ей – его. Из опыта она знала, что Нужда всегда копит в себе изрядно жестокости.

Прощание Анджум с Кхвабгахом нельзя было назвать сердечным, это правда, но она понимала, что его сны и тайны принадлежали не ей одной, и не спешила их раскрывать.

2. Кхвабгах

Она была четвертой из пяти детей в семье. Родилась она в холодную январскую ночь в делийском районе Шахджаханабаде[3 - Прежнее название Старого Дели.], некогда окруженном крепостной стеной, при свете керосиновой лампы (в ту ночь отключили электричество). Ахлам Баджи, акушерка, принимавшая роды, завернула младенца в две теплые шали и протянула матери со словами: «Это мальчик». Учитывая некоторые обстоятельства, это была вполне простительная ошибка.

Когда Джаханара-бегум была на втором месяце своей первой беременности, они с мужем решили, что если родится мальчик, они назовут его Афтабом. Первые три ребенка оказались девочками. Супруги ждали своего Афтаба шесть лет. Ночь, когда он, наконец, появился на свет, стала счастливейшей в жизни Джаханары-бегум.

Наутро, когда солнце поднялось высоко над землей и в комнате стало светло, тепло и уютно, Джаханара распеленала маленького Афтаба и принялась исследовать его крошечное тельце – глазки носик головку шейку подмышки пальчики на ручках и ножках – неспешно, с чувством, испытывая неземной восторг. Беда случилась, когда она скользнула пальцем под выступавшую мужскую часть и обнаружила под ней маленькую, плохо оформленную, но явно девичью принадлежность.

Возможно ли, чтобы мать пришла в ужас от собственного ребенка? С Джаханарой-бегум именно это и случилось. Ей показалось, что сердце ее сейчас перестанет биться, а кости рассыплются в прах. Потом она посмотрела еще раз –

может быть, она ошиблась? Потом она инстинктивно отпрянула от произведенного ею на свет создания, кишки ее при этом взбунтовались, и по ногам скользнула тонкая струйка кала. Потом она захотела убить себя и ребенка. Потом появилось стремление обнять дитя и прижать к груди, ощущая падение в пропасть, отделяющую знакомый ей мир от миров, о существовании которых она даже не догадывалась. Там, в темной и глубокой бездне, всё, в чем она была до тех пор уверена, всё – от самых малых мелочей до самых великих истин, потеряло всякий смысл. В урду, единственном знакомом ей языке, все вещи, не только одушевленные, а все – ковры, предметы одежды, книги, ручки, музыкальные инструменты – имели род. Всякая вещь была либо мужского, либо женского рода, была мужчиной или женщиной. Всякая – за исключением ее ребенка. Нет, конечно, Джаханара-бегум знала слово, каким обозначали таких, как Афтаб, – «хиджра». Впрочем, было и еще одно слово – «киннар». Но из двух слов не составишь язык.

Можно ли жить вне языка? Понятно, что она не смогла сформулировать этот вопрос в словах, одним простым и ясным предложением. Он прозвучал у нее в душе как беззвучный, только зарождающийся вопль.

Потом она решила привести себя в порядок, очиститься и пока не говорить никому о том, что она увидела. Даже мужу. Потом пришло желание лечь рядом с Афтабом и отдохнуть. Отдохнуть, как отдыхал Бог христиан после того, как сотворил небо и землю. Правда, Бог почил после того, как внес смысл и порядок в созданный им мир, а она будет отдыхать после того, как создала нечто, внесшее полную сумятицу в ее представления о мире.

В конце концов, это не совсем настоящее влагалище, уговаривала себя Джаханара-бегум. Отверстие его было слепым (она проверила). Это просто какой-то придаток, что-то детское. Может быть, он зарастет, заживет или исчезнет каким-то другим способом. Она помолится во всех известных ей святилищах и будет просить у Всемогущего явить к ней милость. Он явит милость, она знала, что явит. Может быть, Он уже и явил ее, просто Джаханара пока не догадывалась, каким именно образом.

В первый же день, когда Джаханара-бегум почувствовала себя готовой покинуть дом, она взяла с собой свое дитя – Афтаба – и пошла к дарге[4 - Дарга – усыпальница.] хазрата[5 - Хазрат – лицо, обладающее высоким религиозным авторитетом.] Сармада Шахида, благо идти было недалеко, всего каких-то

десять минут. В то время она не имела ни малейшего понятия о жизни хазрата и сама не знала, почему с такой уверенностью направилась именно к его дарге. Возможно, он сам позвал ее к себе. Может быть, правда, что ее привлекли странные люди, которых она часто видела там по дороге к Мина-базару. Прежде она не удостоивала их даже взглядом и замечала, только когда они пересекали ее путь. Теперь же они стали казаться ей самыми важными на свете людьми.

Не все приходившие на могилу хазрата Сармада Шахида знали историю его жизни. Некоторые знали ее частично, некоторые не знали вообще, а третьи придумывали собственные версии. Большинство людей знало, что он был еврейским купцом из Армении, пришедшим в Дели из Персии вслед за своей страстной любовью. Немногие знали, что этой любовью был Абхай Чанд, юный индус, которого Сармад Шахид повстречал в Синде. Большинство людей знало, что Сармад Шахид отрекся от иудаизма и перешел в ислам. Немногие знали, что со временем он усомнился и в ортодоксальном исламе. Большинство людей знало, что он как голый факир вечно бродил по улицам Шахджаханабада, а потом был публично казнен. Опять-таки немногие знали, что казнили его не за хождение по улицам в голом виде, а за религиозное отступничество. Аурангзеб, тогдашний падишах, призвал Сармада ко двору и попросил доказать, что он истинный мусульманин – то есть прочесть калиму: «Ла илаха иллаллах Мохаммед-ур расул Аллах. – Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Его». Сармад Шахид стоял голый перед придворными кази и мауланами[6 - Судьи и законоучителя.] во дворе Красного форта. В небе остановились облака, и птицы застыли в воздухе, а в форте стало душно и жарко, когда хазрат Сармад начал декламировать калиму. Однако он умолк почти сразу после того, как начал, сказав только: «Ла илаха. – Нет Бога». Он упорно не желал продолжать, утверждая, что не способен этого сделать, пока не завершит свой духовный поиск и не сможет принять Аллаха всем сердцем. До этого же, сказал он, калима в его устах будет оставаться пустым притворством. Аурангзеб, посоветовавшись со своими кази, приказал казнить Сармада.

Тем не менее было бы ошибкой полагать, будто те, кто приходил к могиле выказать благоговейное почтение хазрату Сармаду Шахиду, не зная истории его жизни, делали это по невежеству. Дело в том, что внутри дарги непокорный дух Сармада был сильнее, ощутимее и правдивее, нежели любое собрание исторических фактов, и этот дух действовал на всех пришедших искать благословения хазрата. Этот дух прославлял (но никогда не проповедовал) торжество духовности над ритуалами, простоты над излишествами богатства, а также непобедимую, неземную любовь – даже перед лицом смерти. Дух Сармада внушал тем, кто приходил к нему, силу своей жизни и позволял обратить эту

силу на укрепление духа, в чем бы это ни заключалось.

Став частым гостем дарги хазрата, Джаханара-бегум много раз слышала, а потом и рассказывала другим, историю о том, как Сармад был обезглавлен на ступенях Джама-Масджид – соборной мечети Старого Дели – перед морем почитателей, пришедших проститься с ним. Рассказ повествовал о том, что голова продолжала произносить стихи любви даже после того, как отделилась от тела, и о том, что тело подняло голову и возложило ее на плечи так же обыденно, как современный мотоциклист надевает шлем, а потом Сармад поднялся по ступеням вверх, вошел в Джама-Масджид и так же непринужденно вознесся прямо на небеса. И именно поэтому, говорила Джаханара-бегум (всем, кто хотел ее слушать), в дарге, прилепившейся, как моллюск, к восточной лестнице Джама-Масджид, ровно в том месте, где кровь Сармада пролилась и собралась в лужу, пол, стены и потолок сохраняют свой красный цвет. Прошло уже триста лет, говорила Джаханара, но никто не может смыть кровь хазрата Сармада. В какой бы цвет ни красили пол и стены гробницы, они все равно возвращают себе свой прежний оттенок.

Безмятежность и покой снизошли на Джаханару-бегум сразу, как только она, пройдя мимо разношерстной толпы – мимо продавцов благовоний и амулетов, сторожей обуви паломников, мимо колченогих калек, нищих, бездомных – мимо коз, откармливаемых ко дню разговения, мимо группки пожилых, невозмутимых евнухов, обосновавшихся под парусиновым навесом, натянутым возле гробницы, – вошла в крохотную красную каморку. Уличный гомон стих и отдалился. Джаханара села в уголок, положила на колени свое спящее дитя и оглядела сидевших в комнате паломников – мусульман и индусов. Люди прикрепляли к решеткам на стенах красные шнурки, красные браслеты и записки, ища благословения Сармада. Однако только после того, как Джаханара заметила худого до прозрачности старика с клочковатой седой бородой и пергаментной сухой кожей, который беззвучно плакал, раскачиваясь у стены, словно его сердце было разбито, она и сама дала волю слезам. «Это мой сынок, Афтаб, – шепотом заговорила она с хазратом Сармадом. – Я принесла его сюда, к тебе. Позаботься о нем и научи меня любить его».

Хазрат Сармад исполнил ее мольбу.

* * *

Первые несколько лет жизни Афтаба Джаханара-бегум ревностно хранила его тайну. Несчастливая мать ждала, что девичья щель зарастет, не отпускала Афтаба далеко от себя и берегла его как зеницу ока. Даже после того как родился младший сын Сакиб, Джанахара продолжала опекать Афтаба, не отпуская его далеко от себя. Такое поведение не казалось странным для женщины, которая так долго и так напряженно ждала рождения сына.

Когда Афтабу сравнялось пять лет, родители отвели его в медресе для мальчиков на Чуривали-Гали (улочка, где продавали браслеты). Уже через год мальчик знал на память изрядную часть Корана на арабском языке, хотя, конечно, было не совсем ясно, насколько хорошо он его понимал. Впрочем, то же самое можно было сказать и о других мальчиках. Афтаб учился хорошо, лучше большинства учеников, но уже с младенчества стало ясно, что настоящее его призвание – музыка. У мальчика был нежный, звонкий голос, и он усваивал мелодию после первого же прослушивания. Родители решили отправить его к уstadу[7 - Устад – учитель у мусульман Индии и Пакистана.] Хамиду Хану, выдающемуся молодому музыканту, преподававшему классическую индийскую музыку в своей тесной квартирке в Чандни-Махале. Маленький Афтаб не пропустил ни одного урока. В девятилетнем возрасте он уже мог по двадцать минут петь бада-хайяль в мелодиях рага-яман, рага-дурга и рага-бхайрав, а в рага пурья-дханашири напев его застенчиво шелестел, как камень, умелой рукой брошенный скользить по водам озера. Чаити и тхумри он мог петь с изяществом и совершенством куртизанки из Лакхнау. Поначалу люди удивлялись и подбадривали мальчика, но очень скоро его стали дразнить и оскорблять другие дети: «Он же Она! Он не Он и не Она. Он и Он, и Она. Она-Он, Он-Она. Хи-хи-хи!»

Когда издевательства стали невыносимыми, Афтаб перестал ходить на уроки музыки, но уstad Хамид, который души в нем не чаял, сказал, что будет заниматься с ним отдельно. Музыкальное образование, таким образом, продолжилось, но ходить в школу Афтаб наотрез отказался. К тому времени все робкие надежды Джаханары-бегум практически испарились. Никаких признаков заживления между ножками сына она не видела. Джаханара, прибегнув к изобретательным уловкам, смогла на несколько лет оттянуть обрезание, но маленький Сакиб уже ждал своей очереди, и возможности тянуть дальше уже не было. Наконец, Джаханаре пришлось сделать неизбежное. Она собрала все свое мужество и рассказала правду мужу, заливаясь слезами горя, смешенного с облегчением, ведь теперь не ей одной нужно было нести тяжкое бремя этого кошмара.

Муж Джаханары, Мулакат Али, был хакимом, врачом-травником и большим любителем поэзии на урду и персидском. Всю жизнь он работал на семью другого хакима – Абдула Маджида – который создал популярную марку шербета, названную «Рух-Афза», что по-персидски означает «Эликсир души». Этот эликсир, который готовили из семян портулака, винограда, апельсинов, арбуза, мяты и моркови, добавляя в него также немного шпината, ветивера, лотос, лилии двух сортов и масло дамасской розы, считался тонизирующим средством. Люди, однако, обнаружили, что две столовые ложки искрящегося рубинового сиропа не только придавали невероятно приятный вкус молоку и даже обычной воде, но и служили непревзойденной защитой от испепеляющей делийской жары, как и от странной лихорадки, которую приносили с собой ветры из пустыни. Очень скоро целебный настой, каким должен был стать эликсир, превратился в любимый местным народом прохладительный напиток. «Рух-Афза» стала доходным предприятием и популярной торговой маркой. Сорок лет семья удачливого хакима получала приличные доходы, отправляя напиток на юг – до Хайдарабада и на запад – до Афганистана. Потом начались ужасы великого Раздела. Бог вскрыл свою сонную артерию над границей Индии и Пакистана, и миллион человек погибло от ненависти. Соседи убивали друг друга с такой яростью, словно никогда не были знакомы, никогда не ходили друг к другу на свадьбы, никогда не пели песен друг друга. Старый город больше не был прежним. Жившие там мусульманские семьи бежали, но прибыли индуисты и поселились у его стен. «Рух-Афза» пережила не лучшие времена, но оправилась от удара, и очень скоро филиал торгового дома был открыт в Пакистане. Прошла еще четверть века, и геноцид случился теперь в Восточном Пакистане. Когда ужас остался позади, хакимом организовал еще один филиал в новой стране Бангладеш. Эликсир, однако, торжествовал недолго. Напиток, переживший войны и кровавое рождение трех стран, был, как и большинство вещей в мире, безжалостно раздавлен «Кока-Колой».

Мулакат Али был весьма ценным и уважаемым сотрудником хакима Абдула Маджида, но на зарплату едва мог сводить концы с концами. Поэтому, кроме работы у Абдула, Мулакат принимал больных на дому. Джаханара-бегум вносила свою лепту в семейный бюджет – она шила белые хлопковые шапочки (такие же, какие носил Ганди) и заваливала ими индусов, лавочников с Чандни-Чуок[8 - Чуок – рыночная площадь в индийских населенных пунктах.].

Мулакат Али прослеживал свое происхождение от повелителя монголов Чингисхана. Предки Мулакаты происходили от второго сына хана – Чагатая. Генеалогическое древо было изображено на куске старого, потрескавшегося пергамента, а в небольшой жестяной шкатулке Мулакат хранил пожелтевшие

документы, которые якобы подтверждали истинность его высокого происхождения и объясняли, каким образом потомки шаманов из пустыни Гоби, поклонявшиеся Вечному Синему Небу и считавшиеся врагами ислама, стали зачинателями династии Великих Моголов, правивших Индией на протяжении веков. В документах было также написано, как предки самого Мулаката, потомки Моголов, бывших суннитами, перешли в шиизм. Иногда – не чаще одного раза в несколько лет – Мулакат открывал шкатулку и показывал документы какому-нибудь журналисту, который (как правило) либо просто не слушал Мулаката, либо не воспринимал его всерьез. В лучшем случае долгое интервью оборачивалось игривым упоминанием в субботнем материале о Старом Дели. Если статью удостаивали целого разворота, то она сопровождалась небольшим портретом Мулаката Али и еще несколькими фотографиями: крупным планом блюд монгольской кухни, дальним планом с мусульманскими женщинами в парандже, едущими на велорикшах по грязным улочкам, и, конечно же, непременно снимком с высоты птичьего полета – ровные ряды мусульманских мужчин в белых шапочках, склонившиеся в молитве во дворе мечети Джама-Масджид. Некоторые читатели усматривали в этих снимках доказательство победы в Индии межконфессионального согласия, светскости и веротерпимости. Другие с облегчением приходили к выводу, что делийские мусульмане вполне довольны жизнью в своем пестром гетто, но находились и такие, кто убеждался, что мусульмане не желают «интегрироваться», размножаются и организуются, и недалек тот час, когда они представят нешуточную угрозу для индуистской Индии. Таких становилось все больше, и они тревожными темпами усиливали свое влияние.

Однако независимо от того, появлялось интервью в печати или нет, Мулакат Али в своей слепой любви к человечеству продолжал принимать визитеров в своей крошечной квартирке, проявляя при этом тускнеющее изящество обедневшего аристократа. О прошлом он всегда говорил с достоинством, но без ностальгии. Он живописал, как в тринадцатом веке его предки правили империей, простиравшейся от земель, которые ныне называются Вьетнам или Корея, до Венгрии и Балкан и от Северной Сибири до Деканского плоскогорья в Индии. Да, то была величайшая империя из всех, какие знало человечество. Он часто заканчивал интервью двустишием на урду – двустишием своего любимого поэта Мира Таки Мира:

Джис сар ко гхурур аадж хай яан тадж-вари ка

Каль усс пе яхин шор хай пхир наухагари ка

И голова, что днесь красуется в короне,

Поникнет завтра в безутешном стоне.

Посетители его, в большинстве своем нагловатые эмиссары нового правящего класса, едва ли сознававшие свое юношеское высокомерие, не вполне понимали многослойный смысл продекламированного им двустишия, похожего на легкую закуску, которую следовало смыть крошечной чашкой густого сладкого чая. Конечно, они понимали, что это была грустная эпитафия на руинах павшей империи, границы которой сузились до мрачного, грязного гетто, окруженного разрушенными стенами Старого города. Да, конечно, они понимали и то, что это был печальный комментарий к стесненному положению самого Мулаката Али. Но от их внимания ускользало самое важное – стихи были коварным лакомством, лукавой самосой, предостережением, завернутым в скорбь и предложенным в обертке ложного смирения эрудированным человеком, твердо уверенным в полном незнании слушателями урду – языка, который, подобно большинству говорящих на нем, все больше и больше изолировался.

Страсть Мулаката Али к поэзии не была увлечением, отделенным от его практики хакима. Он верил в целительную силу поэзии, верил, что поэзия может излечить или по крайней мере значительно способствовать излечению от практически любого недуга. Он предписывал своим пациентам стихи, как другие хакиды предписывали лекарства. В неисчерпаемом запасе Али были двустишия, пугающим образом подходящие для всех случаев жизни – для любой болезни, любого настроения, любого – самого незначительного – изменения политического климата. Это обыкновение делало жизнь самого хакима и людей, окружавших его, более глубокой, хотя и менее самобытной, чем она была в действительности. Стихи пропитывали все едва уловимым ощущением застоя, ощущением того, что все происходящее уже происходило раньше. Все уже было записано, спето, прокомментировано и отложено в сокровищницу людского опыта. Ничто новое в этом мире не было возможно. Именно поэтому молодые люди, которые оказывались рядом с ним, немедленно ретировались, смущенно хихикая, как только понимали, что сейчас их угостят очередным двустишием.

Когда Джаханара-бегум рассказала мужу об Афтабе, у Мулаката Али – быть может, впервые в жизни – не нашлось стихов на случай. Мало того, ему потребовалось немалое время, чтобы справиться с неожиданным потрясением. Придя в себя, он рассерженно спросил, почему жена не сказала ему об этом раньше. Времена изменились, продолжил он, наступило Новое время. Хаким был уверен, что существует простое медицинское решение, которое избавит их сына

от проблемы. Надо только найти врача в Нью-Дели, подальше от слухов и сплетен, неизбежных в махалля[9 - Часть города, своего рода квартал.] Старого города. Всемогуший помогает тем, кто помогает себе сам, с напускной суровостью сказал он жене.

Спустя неделю, облачившись в лучшие свои одежды и нарядив несчастного Афтаба в серо-стальной костюм патхани, черную вышитую курточку, шапочку топи и джутти с мысками, загибающимися вверх, как нос гондолы, они выехали в запряженной лошадью повозке с улицы Низамуддина. Всем соседям было сказано, что семья отправилась на смотрины будущей невесты для племянника Айджаза – младшего сына старшего брата Мулаката Али Касима, который после Раздела переехал в Пакистан и теперь работал в филиале «Рух-Афзы» в Карачи. На самом деле семейство поехало на прием к доктору Гуламу Наби, который сам себя называл сексологом.

Доктор Наби страшно гордился своей прямоотой и научной образованностью. Осмотрев Афтаба, он сказал, что, строго говоря, мальчик не является хиджрой – женщиной, заключенной в тело мужчины, но для простоты можно назвать это и так. Афтаб, сказал доктор Наби, – это редкий случай истинного гермафродитизма, то есть заболевания, при котором у человека существуют как мужские, так и женские признаки, хотя мужские – внешне – доминируют. Доктор Наби обещал порекомендовать хирурга, который закроет и зашьет женский признак. Кроме того, он выпишет и таблетки. Одновременно врач предупредил, что проблема эта не только внешняя. Лечение, конечно, поможет, но останутся «тенденции хиджры», искоренить которые едва ли когда-нибудь удастся. (Для обозначения западного слова «тенденции» доктор употребил слово «фитрат»). Таким образом, врач не гарантировал успеха. Мулакат Али, готовый ухватиться за любую соломинку, был полон воодушевления. «Тенденции? – переспросил он. – Тенденции – это не проблема, у всех у нас есть какие-нибудь тенденции... С ними всегда можно справиться».

Визит к доктору Наби не дал немедленного облегчения, не освободил Афтаба от того, что Мулакат Али называл недугом, но зато несомненно пошел на пользу самому Мулакату Али, ибо помог ему определиться в надежной системе координат и вести корабль среди океана полного непонимания ситуации, объяснения которой было бессмысленно искать в стихах. Теперь муки несчастного отца превратились в практическую проблему, которая требовала направить внимание и силы на вполне осязаемую задачу: достать деньги на операцию.

Он сократил расходы на домашнее хозяйство и составил список друзей и родственников, у которых можно было что-то занять. Одновременно он затеял грандиозный культурный проект – начал вселять мужественность в Афтаба. Мулакат Али принялся внушать сыну любовь к поэзии, стараясь отвратить от пения тхумри и чаити. Он допоздна засиживался с сыном, рассказывая тому истории об их воинственных предках, об их доблести на полях брани. Рассказы эти оставляли Афтаба равнодушным, но потом он услышал историю о том, как Темучин – Чингисхан – добился руки своей красавицы-жены, Бортэ-Хатун, о том, как ее похитило враждебное племя и Темучин, почти в одиночку, сумел отбить ее у врагов – так сильна была его любовь. Слушая эту историю, Афтаб хотел оказаться на месте Бортэ-Хатун.

Сестры и брат Афтаба ходили в школу, а он сам часами просиживал в это время на крошечном балконе, выходившем на Читли-Кабар – маленькую гробницу пятнистого козла, который, как говорили, обладал сверхъестественной силой, и на оживленную улицу, вливавшуюся в Матия-Махал-Чуок. Мальчик быстро выучил такт и ритм своего квартала, расцвеченного ругательствами на урду: «Я трахну твою мать», «Иди трахни свою сестру», «Клянусь членом твоей матери», поток которых пять раз в день прерывался призывом правоверных к молитве, раздававшимся с минарета Джама-Масджид и еще пяти мечетей поменьше, разбросанных по Старому городу. День за днем Афтаб внимательно следил за всем подряд, но ни за чем в особенности. Гудду Бхай, желчный и злой рыбный торговец, ранним утром ставил тележку со свежей, серебристо блестящей рыбой в самой середине рынка, чтобы вскоре, с неизбежностью восхода и захода солнца, его сменил Васим, высокий, любезный продавец нан-хати. Этот Васим затем съезживался до Юнуса – маленького и худенького торговца фруктами, который ближе к ночи раздувался в мячик Хассана Миана, толстяка, торговавшего лучшим бараньим бирьяни в Матия-Махале. Горячий рис с мясом он извлекал из огромного медного котла. Однажды утром – это было весной – Афтаб увидел высокую женщину с тонкими, стройными лодыжками. Первым делом Афтабу бросилась в глаза яркая губная помада и высокие золоченые каблуки. Кроме того, на женщине был блестящий зеленый шелковый шальвар-камиз. Женщина покупала браслет у торговца Мира, который, кроме того, сторожил Читли-Кабар. Каждый вечер, запирая козлиный склеп, он прятал в нем весь свой запас браслетов. (Ему удалось устроить так, чтобы обе работы заканчивались в одно время.) Афтаб никогда в жизни не видел никого великолепнее этой женщины в губной помаде. Он опрометью сбежал вниз по крутой лестнице и пошел за ней, внимательно следя, как она покупала баранину, заколки для волос, гуаву, а потом старательно застегивала расстегнувшийся ремешок босоножки.

Ему хотелось быть ею.

Он проводил ее по улице до Туркменских ворот и долго стоял возле синей двери, за которой она исчезла. Ни одной обычной женщине никто бы не позволил такой плавной походкой прошествовать в такой одежде по Шахджанабаду. Обычные женщины Шахджанабада носили паранджу или, по крайней мере, покрывали голову и все тело, за исключением кистей рук и стоп. Женщина, за которой шел Афтаб, могла так одеваться и так разгуливать по городу, потому что она... не была женщиной. Но как бы то ни было, Афтаб мечтал быть ею. Он хотел быть ею больше, чем красавицей Бортэ-Хатун. Он хотел, как эта женщина, царственно идти мимо мясных лавок, где освежеванные туши висели на крюках, словно стены из красной плоти; он хотел, так же жеманясь, проплывать мимо стильного мужского парикмахерского салона «Новая жизнь», где цирюльник Ильяс стриг молодого мясника Лиаката и смазывал его волосы сверкающим бриолином. Он жаждал протянуть унизанную звенящими браслетами руку с ярко накрашенными ногтями и слегка приподнять жабы рыбы, чтобы убедиться в ее свежести и поторговаться о цене. Он хотел немного задрать шальвары, переступая через лужу, – только для того, чтобы показать всем серебряные браслеты на лодыжках.

Девичие признаки Афтаба гнездились у него не только между ног.

Теперь Афтаб делил свое время между музыкальными занятиями и дежурством у синей двери дома в Гали-Дакотан, где жила высокая женщина. Афтаб узнал, что ее прозывали Бомбейский Шелк и что в доме жили еще семь таких же женщин – Бульбуль, Разия, Хира, Крошка, Ниммо, Мэри и Гудия. Все они жили здесь, в хавели, каменном доме, за синей дверью. У них была уstad, гуру по имени Кульсум Би, она была самой старшей среди них и являлась хозяйкой дома. Афтаб узнал, что хавели назывался Кхвабгах – Дом снов.

Поначалу обитательницы дома прогоняли его, потому что все они знали Мулакату Али и не желали наживать в его лице врага. Но, невзирая на ругань, упреки и возможные наказания, Афтаб неизменно, день за днем, возвращался к дому с синей дверью. Это было единственное место в мире, где он чувствовал, что сам воздух расступается перед ним. Когда Афтаб приходил к заветному дому, он чувствовал, как для него появляется свободное пространство, – это было такое же чувство, какое испытывает школьник, когда одноклассник скользит по скамье, освобождая для него место. Через несколько месяцев, в

течение которых Афтаб выполнял мелкие поручения женщин, носил их сумки и музыкальные инструменты, массировал их уставшие за день ноги, ему удалось, наконец, проникнуть в Кхвабгах. Настал давно желанный день, когда его впустили внутрь. Он вступил в этот заурядный, ветхий дом с таким чувством, словно входил в рай.

За синей дверью располагался мощеный, окруженный высокой стеной внутренний двор с водяной колонкой в одном углу и гранатовым деревом – в другом. За просторной верандой, опиравшейся на каннелированные колонны, располагались две комнаты. Крыша одной из них просела, а стены рассыпались на мелкие камни, где устроило себе гнездо целое кошачье семейство. Уцелевшая комната была большой и содержалась в относительном порядке. Вдоль шелушащихся бледно-зеленых стен стояли четыре простых деревянных и два годреджских шкафа. Шкафы были облеплены фотографиями кинозвезд – Мадхубалы, Вахиды Рехман, Наргис, Дилипа Кумара (которого на самом деле звали Мухаммад Юсуф Хан), Гуру Датта и местного парня Джонни Уокера (Бадруддина Джамалуддина Кази), комика, который мог одной фразой развеселить самого мрачного на земле человека. Дверца одного из высоких шкафов была зеркальной. В противоположном углу помещался выдавший виды туалетный столик. С высокого потолка свисала треснутая люстра с одной работающей лампочкой и древний вентилятор на длинном стержне. Этот вентилятор был женщиной, и звали его Уша. Как и положено женщине, Уша была скрытной, капризной и непредсказуемой. Она была уже далеко не молода, и ее часто приходилось умасливать, а то и просто подталкивать длинной ручкой швабры. Только после этого Уша снова принималась за работу, кружась своими лопастями вокруг стержня, словно танцовщица у шеста. Устад Кульсум Би спала на единственной в хавели кровати вместе с длиннохвостым попугаем Бирбалем, клетку которого она вешала над кроватью. Если ночью Би не оказывалось рядом, то Бирбаль начинал верещать так, словно его резали. Днем, во время бодрствования, Бирбаль был способен членораздельно произносить непристойности, предваряя их фальшиво-призывным кличем «Ай Хай», позаимствованным у обитательниц дома. Любимым ругательством Бирбаля было самое обиходное в Кхвабгахе выражение: «Саали ранди хиджра!» («Шлюха-хиджра и сестра шлюхи»). Бирбаль произносил эту фразу с самыми разнообразными интонациями – кокетливо, шутливо, любовно и с неподдельным, искренним гневом.

Все остальные обитатели дома спали на веранде, а по утрам свертывали свои постели в тугие цилиндрические рулоны. Зимой, когда во дворе становилось холодно и сыро, все перебирались в комнату Кульсум Би. В туалет можно было

попасть только через комнату с просевшим потолком. Мылись по очереди под струей воды из колонки. Кухня располагалась на втором этаже, куда вела неправдоподобно крутая узкая лестница. Окно кухни выходило на церковь Святой Троицы.

Среди обитательниц Кхвабгаха Мэри была единственной христианкой. Она не ходила в церковь, но носила на шее крестик. Гудия и Бульбуль были индуистками и время от времени ходили в те храмы, куда их пускали. Все остальные были мусульманками и посещали мечеть Джама-Масджид и те святилища, где им позволяли входить во внутренние помещения (ведь в отличие от биологических женщин хиджры не менструируют и поэтому не считаются нечистыми). Однако самая мужеподобная жительница Кхвабгаха, в отличие от остальных, менструировала очень активно. Басмала спала на кухонной террасе второго этажа. Это была маленькая, жилистая, смуглая женщина с голосом, напоминавшим звук автобусного клаксона. Она была новообращенной мусульманкой, а в Кхвабгах переехала несколько лет назад (впрочем, эти два события никак не были связаны между собой), после того как муж, водитель Делийской транспортной корпорации, выгнал ее из дома, обвинив в бесплодии. Конечно, ему даже в голову не пришло, что бесплодным мог быть он сам. Басмала (ранее – Бимла) управлялась на кухне и охраняла Кхвабгах от незваных и неожиданных гостей, проявляя при этом свирепость и беспощадность чикагских гангстеров. Молодым людям вход в Кхвабгах был строго воспрещен без недвусмысленного разрешения Басмала. Даже такие постоянные посетители, как будущий клиент Анджум – Человек-Который-Знал-Английский, должны были каждый раз особо договариваться о посещении. Компаньонкой Басмалы на террасе была Разия, которая уже давно лишилась и памяти, и разума и не знала, ни кто она, ни откуда пришла. Разия не была хиджра, она была настоящим мужчиной, который любил одеваться женщиной. Однако она хотела, чтобы ее считали не женщиной, а мужчиной, который желает быть женщиной. Она давно перестала объяснять разницу окружающим (включая и хиджр). Разия целыми днями кормила голубей на крыше, а все разговоры сводила к обсуждению некоего тайного и до сих пор не исполненного правительственного плана (который она называла дао-печ) относительно хиджр и таких, как она. Согласно этому плану все они должны жить в отдельной колонии и получать государственное вспомоществование, чтобы им больше не приходилось зарабатывать на жизнь тем, что она описывала словом «бадтамизи» – плохим поведением. Еще одним пунктиком Разии было обсуждение необходимости государственных пенсий для уличных кошек. Короче, неуправляемый и неустойчивый ум Разии был накрепко прикован к каким-то правительственным планам и проектам.

Первой настоящей подругой Афтаба в Кхвабгахе стала Ниммо Горакхпури, самая молодая из обитательниц дома и единственная, окончившая среднюю школу. Ниммо сбежала из дома в Горакхпуре, где ее отец служил чиновником почтамта. Ниммо любила напускать на себя важность и прибавляла себе возраст, но на самом деле была всего лишь на шесть или семь лет старше Афтаба. Ниммо была приземиста, круглолица, щеголяла густыми курчавыми волосами и широкими, похожими на два ятагана бровями и удивительно толстыми ресницами. Пожалуй, Ниммо была по-своему красива, но все впечатление портила растительность на щеках, которая отливала синевой под макияжем, даже когда Ниммо была чисто выбрита. Ниммо была одержима западной женской модой и ревниво оберегала свою коллекцию модных журналов, которые доставала на уличном развале в Дарьягандже – в пяти минутах ходьбы от Кхвабгаха. Один из продавцов этого воскресного рынка, Наушад, покупал журналы у мусорщиков, обслуживавших иностранные посольства в Шантипатхе, а затем продавал их Ниммо с изрядной скидкой.

– Знаешь, зачем Бог создал хиджр? – спросила однажды Ниммо Афтаба, когда они рассматривали потрепанный номер «Вог» за 1967 год. Страницы с загнутыми уголками были украшены фотографиями особенно волновавших Ниммо блондинок с голыми ногами.

– Нет, а зачем?

– Это был эксперимент. Бог решил создать что-то необычное – существо, не способное к счастью. И он создал нас.

Эти слова произвели на Афтаба впечатление удара.

– Как ты можешь говорить такое? Вы все здесь счастливы! Это же Кхвабгах! – воскликнул Афтаб, чувствуя, что впадает в панику.

– Кто же здесь счастлив? Все это пена и притворство, – лаконично ответила Ниммо, даже не удосужившись оторваться от журнала. – Здесь нет счастливых. Это невозможно. Арре яар, подумай сам, что делает несчастными вас, нормальных людей? Я не имею в виду тебя, но взрослых людей, таких, как ты. Что делает их несчастными? Повышение цен, проблемы с устройством детей в школу, издевательства мужа, обман жены, столкновения индусов и мусульман, индо-пакистанская война – все это внешние причины, которые со временем как-

то приходят в норму. Но для нас все по-другому: повышение цен – внутри нас, поступление в школу, издевательства мужей, неверность жен – это внутри нас. Столкновения и война – внутри нас. Индопак – внутри нас. И это никогда не успокоится и не придет в норму. Этого просто не может быть.

Афтаб был в отчаянии, ибо не мог найти слов возражения, сказать, что она смертельно ошибается, потому что он, Афтаб, счастлив здесь, так счастлив, как никогда прежде. Он сам был живым доказательством неправоты Ниммо, разве нет? Но он ничего не сказал, потому что в этом случае ему пришлось бы признаться в своей «ненормальности», а к этому он пока готов не был.

Только когда ему сравнялось четырнадцать, когда Ниммо сбежала из Кхвабгаха с водителем автобуса (который вскоре бросил ее и вернулся в семью), понял Афтаб, что имела в виду Ниммо. Тело Афтаба к тому времени объявило ему беспощадную войну. Оно стало высоким, стройным и мускулистым. В панике Афтаб попытался избавиться от растительности на лице и теле с помощью «Бурнола» – крема от ожогов, оставившего на коже темные пятна. В отчаянии стал мазаться депилятором «Энн Френч», украденным у сестры (это вскрылось довольно быстро, потому что от него пахло, как из выгребной ямы). Афтаб старательно выщипывал себе брови – не очень симметрично, но тонко – с помощью самодельного пинцета, больше похожего на плоскогубцы. У Афтаба вырос кадык, при глотании ходивший вверх и вниз. С каким удовольствием он бы вырвал его из горла! Но самое страшное произошло позже – у Афтаба поломался голос – нежный дискант сменился низким мощным басом. Этот голос ужасал Афтаба всякий раз, когда ему случалось заговорить. Он стал молчаливым и говорил только в тех случаях, когда не оставалось иного выбора. Он перестал петь. А когда слушал музыку, каждый, кто стоял рядом, мог уловить едва слышное жужжание, доносившееся как будто из его макушки. Никакие просьбы, даже уговоры устада Хамида, не могли теперь заставить петь уста Афтаба. Пел он теперь, только пародируя индусские песни из слащавых фильмов на разнузданных вечеринках хиджр, и в те моменты, когда обитательницы Кхвабгаха снисходили до чужих заурядных торжеств – свадеб, дней рождения, церемоний освящения дома – где они танцевали, пели своими природными голосами, благословляли хозяев и грозили непристойностями (демонстрацией своих изуродованных гениталий и выкрикиванием жутких ругательств) в случае, если им откажутся платить. Именно это Разия называла дурным поведением – бадтамизи. Ниммо Горакхпури имела в виду то же самое, когда говорила: «Мы шакалы, питающиеся чужим счастьем, мы охотники за счастьем». Ниммо употребляла выражение «кхуши-кхор».

Музыка была оставлена, и у Афтаба не стало больше причин жить в мире, каковой большинство людей считают реальным, а хиджры называют «Дуния» – Мир. В одну прекрасную ночь Афтаб, прихватив с собой из дома немного денег и лучшие наряды сестры, сбежал из дома и поселился в Кхвабгах. Джаханара-бегум, никогда не отличавшаяся застенчивостью, буквально ворвалась в Кхвабгах, чтобы забрать оттуда свое чадо. Афтаб отказался уходить. Джаханара ушла только после того, как заставила уstad Кульсум Би поклясться, что по крайней мере по выходным Афтаб будет носить нормальную мужскую одежду и бывать дома. Кульсум Би честно старалась сдержать слово, но договор соблюдался всего лишь несколько месяцев.

Так и случилось, что в возрасте пятнадцати лет, всего лишь в паре сотен ярдов от дома, где его семья прожила несколько столетий, Афтаб открыл обычную дверь и провалился в иную вселенную. В первый же вечер своего переезда в Кхвабгах Афтаб танцевал во дворе и пел любимую всеми песню из любимого всеми фильма: «Пьяр кийя то дарна кья». – «Если любишь, чего бояться» из «Великого Могола». На следующий вечер Афтаб прошел обряд инициации, был одарен зеленой дупаттой[10 - Род куртки, предмет индийской национальной одежды.] и после соответствующей церемонии был признан членом сообщества хиджр. Афтаб получил имя Анджум и стал ученицей уstad Кульсум Би из Делийской гхараны, одной из семи региональных индийских гхаран, каждую из которых возглавляла найяк, глава, подчинявшаяся верховной главе.

Джаханара-бегум с тех пор ни разу не переступила порог Кхвабгаха, но много лет ежедневно посылала туда горячую еду. Единственным местом, где Джаханара-бегум время от времени виделась с Анджум, стала дарга хазрата Сармада Шахида. Они недолго сидели друг подле друга – шестифутовая Анджум, с должной скромностью прикрывшая голову расшитой бисером дупаттой, и маленькая Джаханара-бегум, из-под черной паранджи которой выбивались начавшие сесть пряди. Иногда они, словно невзначай, брали друг друга за руки. Мулакат Али так и не смог смириться с таким положением. Сердце его было навсегда разбито. Он продолжал давать интервью, но никогда – ни публично, ни в частных беседах – ни словом не упоминал о несчастье, свалившемся на династию Чингисхана. Мулакат предпочел порвать все связи с сыном. Он никогда больше не виделся с Анджум и не говорил с ней. Иногда случайно они встречались на улице и обменивались взглядами, но никогда не здоровались. Никогда.

Прошли годы. Анджум стала самой знаменитой хиджрой Дели. Ее наперебой осаждали кинопродюсеры и неправительственные организации, а иностранные корреспонденты – в качестве профессиональной любезности – делились друг с другом номером ее телефона так же, как номерами Птичьего госпиталя или Пхулан Деви, сдавшейся властям «королевы бандитов», или странной женщины, утверждавшей, что она – бегум Ауда. Эта дама жила на лесном хребте в полуразрушенном доме в окружении слуг и старинных канделябров, пребывая в твердом убеждении, что является владычицей давно не существующего княжества. Во время интервью журналисты всячески склоняли Анджум рассказывать о насилии и жестокости, которым, как полагали ее собеседники, она подвергалась в детстве со стороны традиционного мусульманского окружения – родителей, братьев, сестер и соседей, что и заставило ее в конце концов покинуть родной дом. Журналисты всякий раз бывали разочарованы, когда Анджум принималась убеждать их, что и отец, и мать очень любили ее и что это она проявила жестокость по отношению к ним. «Другие рассказывают жуткие истории, такие, о которых вы обожаєте писать, – говорила Анджум. – Так почему бы вам не поговорить с ними?» Но газетчики хорошо знали свое дело. Анджум была избрана. Героиней интервью должна была быть она и только она, неважно, что ради этого приходилось немного подправлять истину. Материал должен нравиться читателям.

Став полноправной обительницей Кхвабгаха, Анджум смогла наконец облачиться в одежду, о которой мечтала всю жизнь: полупрозрачную, украшенную блестками курту, плиссированные патиальские шальвары, шарару, гарару; смогла надеть на щиколотки и на запястья звенящие серебряные и стеклянные браслеты и вдеть в уши длинные серьги. Анджум проколола ноздрю и вставила в нее изысканную, украшенную камнями сережку, а глаза подвела сурьмой и синими тенями. Кроваво-красной помадой она придала губам соблазнительно-чувственную форму лука, как у Мадхубалы. Волосы не желали сильно отрастать, но их длины вполне хватило для того, чтобы откинуть их назад и вплести в косу из искусственных волос. У Анджум было точеное, выразительное лицо с крючковатым, отлично вылепленным, как у отца, носом. Она была не так красива, как Бомбейский Шелк, но выглядела сексуальнее и более интригующе – и это была настоящая, неподдельная женская привлекательность. Внешние данные Анджум вместе с неумемной склонностью к преувеличенной, вопиющей женственности заставили реальных, биологических женщин из ближайшей округи – даже тех, кто не носил паранджу, – выглядеть в сравнении с ней тускло и невыразительно. Она научилась ходить, призывно покачивая бедрами и общаться с другими хиджрами особыми хлопками пальцев. Эти хлопки были громкими, как пистолетные выстрелы, и могли означать все,

что угодно: «Да», «Нет», «Может быть», «Вах! Бехен ка лауда» («Хер твоей сестры»), «Бхонсади ке?» («Какая жопа тебя родила?»). Только хиджра могла понять, что означал тот или иной хлопок – в зависимости от громкости, обстановки и сопутствующей мимики.

Когда Анджум исполнилось восемнадцать, Кульсум Би устроила в Кхвабгахе настоящее празднество. На день рождения собрались хиджры со всего города, а некоторые приехали даже из других мест. Впервые в жизни Анджум нарядилась в сари, красное сари в стиле диско, и чоли с оголенной спиной. Той ночью ей снилось, что она невеста, готовая возлечь на брачное ложе. Утром ее ждало страшное разочарование – проснувшись, она поняла, что ее сексуальное наслаждение разрядилось чисто мужским способом, испачкав нарядное сари. Такое случалось с ней и раньше, но по какой-то причине, может быть, из-за сари, Анджум испытала ни с чем не сравнимое унижение. Она сидела во дворе Кхвабгаха и выла как волчица, ритмично ударяя себя по голове и между ног и крича от этой добровольной боли. Ее наставница Кульсум Би, хорошо знавшая подоплеку таких представлений, дала Анджум успокаивающую таблетку и увела к себе в комнату.

Когда Анджум успокоилась и пришла в себя, Кульсум Би, вопреки своему обыкновению, очень рассудительно и трезво поговорила с ней. Она сказала, что Анджум нечего стыдиться, потому что хиджры – это избранные люди, возлюбленные Всмогущего. Слово «хиджра», объяснила своей подопечной Кульсум Би, означает: «Тело, в котором обитает Святая Душа». В течение следующего часа Анджум узнала, что у Святых Душ своя особая судьба, что мир Кхвабгаха такой же, если не более сложный, чем Дуния остальных людей. Индуски Бульбуль и Гудия подверглись официальной (и очень болезненной) кастрации в Бомбее до того, как оказаться в Кхвабгахе. Бомбейский Шелк и Хира с радостью сделали бы то же самое, но они были мусульманки и верили, что ислам воспрещает им менять данный Богом пол, так что они выходили из положения, как могли. Крошка, как и Разия, была мужчиной и хотела им остаться, но быть женщиной во всех иных отношениях. Что же касается самой Кульсум Би, то она не соглашалась с Бомбейским Шелком и Хирой – они, по ее мнению, неверно понимали требования ислама. И она, наставница, и Ниммо Горакхпури – принадлежавшая уже новому поколению мусульманок, сделали себе операции по смене пола. Устад знала некоего доктора Мухтара, надежного и неболтливового врача, который не рассказывал о своих пациентах на каждом перекрестке Старого Дели. Кульсум Би посоветовала Анджум подумать и решить, чего она хочет. На это Анджум потребовалось три минуты.

Доктор Мухтар был уверен в себе и умел вселять в пациентов бодрость лучше, чем доктор Наби. Он сказал, что сможет удалить мужские органы и попытается увеличить влагалище. Он также предложил попить таблетки, от которых голос станет выше и начнет расти грудь. Кульсум настаивала на скидке, и доктор Мухтар согласился. Кульсум Би заплатила за операцию и гормональные таблетки, и Анджум расплачивалась с ней в течение многих лет в несколько приемов.

Операция была трудной, послеоперационный период был не легче, но в конце всех испытаний Анджум почувствовала невероятное облегчение. Пелена тумана, застилавшая ум, рассеялась, и Анджум обрела незнакомую ей прежде ясность мысли. Однако влагалище доктора Мухтара оказалось сплошным жульничеством. Нет, оно годилось для дела, но совсем не так, как обещал врач. Ничего не изменилось даже после двух повторных операций. Тем не менее доктор Мухтар не стал возвращать деньги – ни все, ни их часть. Напротив, он продолжил безбедно жить, продавая невежественным пациентам непригодные протезы таких важных частей тела. Мухтар умер очень состоятельным человеком, оставив по большому дому в Лакшми-Нагаре каждому из своих сыновей, а дочь его удачно вышла замуж за процветающего строительного подрядчика из Рампура.

Анджум благодаря всем этим операциям стала самой желанной любовницей в городе, самой умелой дарительницей наслаждения, но оргазм, который она испытала в тот день, когда на ней было красное сари в стиле диско, оказался последним в ее жизни. Несмотря на то что «тенденции», о которых предупреждал ее отца доктор Наби, остались, таблетки доктора Мухтара действительно сделали голос Анджум выше. Но исчез и звонкий резонанс, голос стал хриплым и каким-то шершавым. Со стороны могло показаться, что у Анджум стало два голоса, которые едва уживались в одном горле. Это противоречие пугало посторонних людей, но не доставляло никаких неудобств самой Анджум, как это делал голос, данный ей Богом. Впрочем, нельзя сказать, что новый голос ей нравился.

Анджум прожила в Кхвабгахе со своим разрезанным и залатанным телом и частично реализованной мечтой больше тридцати лет.

Ей было сорок шесть, когда она объявила о своем желании покинуть Кхвабгах. К тому времени Мулакат Али уже умер, а Джаханара-бегум большую часть времени была прикована к постели и жила с Сакибом и его семьей в их половине

старого дома в Читли-Кабаре. (Вторую половину снимал странный, застенчивый молодой человек. Его комнаты были завалены стопками купленных у букиниста английских книг. Они лежали на полу, на кровати, на столах и на всех горизонтальных поверхностях.) Анджум изредка навещала родных, но никто не звал ее остаться жить. Кхвабгах между тем стал прибежищем для нового поколения обитательниц; из старых жильцов остались только уstad Кульсум Би, Бомбейский Шелк, Разия, Басмала и Мэри.

Анджум было некуда идти.

* * *

Возможно, по этой причине никто не воспринимал ее всерьез.

Театральные заявления об уходе и угрозы самоубийством были привычным явлением в обстановке нескончаемой ревности, вечных интриг и смены любовников, каковые были неотъемлемой частью жизни Кхвабгаха. И вновь все наперебой предлагали докторов и таблетки. Ей говорили, что таблетки доктора Бхагата лечат всё и у всех. «Я – не все», – заявила Анджум, и это породило новую волну пересудов: куда может завести гордыня и что она вообще о себе воображает?

Но что она – в действительности – о себе воображала? Не так уж много или, наоборот, чересчур много – все зависело от того, с какой стороны на это дело взглянуть. Да, у нее были амбиции, но они завершили полный круг и вернулись к исходной точке. Теперь Анджум хотелось вернуться в Дунию и жить обычной человеческой жизнью. Она хотела быть матерью, одевать Зайнаб в школьную форму и провожать ее на учебу с книжками и пакетиком с завтраком. Вопрос заключался в том, были ли эти амбиции адекватными для такого человека, как Анджум.

Зайнаб была единственной любовью Анджум. Анджум нашла девочку три года назад в один из тех ветреных дней, когда буря срывает шапочки с голов правоверных на молитве, а связанные в гроздь воздушные шарики клонятся к земле, туго натягивая шнурки. Одинокая, похожая на серенького мышонка девочка во все горло ревела на ступенях Джама-Масджид. Анджум поразили ее огромные испуганные глаза. На вид девочке – так во всяком случае показалось Анджум – было годика три. На ней были тускло-зеленый шальвар-камиз и

грязный белый хиджаб. Когда Анджум наклонилась к ней и протянула палец, та, не переставая плакать, крепко ухватилась за него. Эта Мышка-В-Хиджабе не могла, конечно, понять, какую душевную бурю вызвал этот жест доверия у обладательницы пальца, за который она теперь так доверчиво держалась. То, что крошечное создание не испугалось, проявив счастливое неведение, пробудило в душе Анджум (во всяком случае на краткое мгновение) чувство, которое Ниммо Горакхпури так давно назвала Индопаком. Анджум быстро подавила это чувство. Противоборствующие стороны утихли. Тело стало уютным домом, а не полем битвы. Что это было – смерть или возрождение? Анджум не могла понять. Но в этот миг она обрела какую-то неведомую прежде цельность, как будто две половины ее существа сложились в нерасторжимое единство. Она наклонилась, подняла Мышку на руки и принялась ласково ее укачивать, баюкая своим раздвоенным голосом. Но и это не смогло ни напугать малышку, ни отвлечь ее от сосредоточенного рева. Анджум некоторое время стояла так, блаженно улыбаясь и держа на руках орущего ребенка. Потом она опустила девочку обратно на ступеньки, купила ей сладкую розовую вату и принялась непринужденно обсуждать с ней разные взрослые вещи, надеясь, что сейчас вот-вот отыщется кто-нибудь из родителей. Вместо разговора получился монолог. Мышка почти ничего о себе не знала, она даже не смогла сказать, как ее зовут, и Анджум показалось, что малышка была вообще не расположена к беседе. Когда она покончила с ватой (или вата покончила с ней), у девочки образовалась сладкая розовая борода, а пальцы покрылись липкой корочкой того же цвета. Рев перешел в судорожные всхлипывания, а затем и вовсе прекратился. Анджум провела несколько часов на ступенях мечети, ожидая, что за девочкой все же кто-нибудь придет, и спрашивая у прохожих, не слышали ли они о пропавшем ребенке. Вскоре на город опустились сумерки, и служители заперли массивные деревянные ворота Джама-Масджид. Анджум взгромоздила ребенка себе на плечи и отправилась с ним в Кхвабгах. Там она получила выговор. Ей сказали, что надо было поставить в известность о происшествии имама мечети, и Анджум так и поступила на следующее утро. (Очень, правда, неохотно, надеясь на чудо, потому что была к тому моменту уже безнадежно влюблена.)

В течение следующей недели муэдзины по несколько раз в день оповещали жителей с минаретов окрестных мечетей об обнаружении потерявшегося ребенка. Никто, однако, не предъявил прав на Мышку. Недели шли, но на призывы не откликнулась ни одна живая душа. Так и вышло, что Зайнаб – такое имя выбрала для найденыша Анджум – навсегда осталась в Кхвабгахе, где многочисленные матери (и если уж быть точным, то и отцы) окутали ее такой любовью, о которой любой ребенок мог только мечтать. Очень скоро девочка

привыкла к своей новой жизни, а это значило, что прошлая ее жизнь была отнюдь не безоблачной. Анджум все сильнее проникалась убеждением, что Зайнаб не потеряли, а просто бросили.

Прошло всего несколько недель, и Зайнаб уже звала Анджум «мама» (наверное, потому что Анджум сама себя так назвала), а всех остальных обитательниц Кхвабгаха – «апа» (на урду это значит «тетушка»), а Мэри, единственную христианку, Зайнаб так и стала называть «тетя Мэри». Устад Кульсум Би и Басмала стали, соответственно, «бади-нани» и «чхоти-нани» – старшей бабушкой и младшей бабушкой. Мышка впитывала любовь, как впитывает прибрежный песок воду прибоя. Очень быстро маленький заморыш превратился в щекастую юную леди со строптивым, как у бандикута[11 - Маленькое сумчатое животное, похожее на барсука. Обитает в Австралии и Новой Гвинее.], характером (с этим, впрочем, ничего поделать было решительно невозможно).

Новоиспеченная мамочка с каждым днем теряла голову все больше и больше. Она была захвачена врасплох тем, казалось бы, простым фактом, что одно человеческое существо может безусловно и безоглядно любить другое человеческое существо. Поначалу, впервые столкнувшись с этим новым поприщем, Анджум выражала свою любовь чисто деловым и довольно показным способом, как ребенок, балующий своего первого котенка. Она заваливала Зайнаб ненужными игрушками и одеждой (пуховички с дутыми рукавами и пищащие ботиночки со светящимися каблучками «сделано-в-Китае»), она бесконечно купала, одевала и раздевала ребенка, умащивала кремами, причесывала и расчесывала девочке волосы, заплетала и расплетала косички, вплетая в них подходящие и неподходящие ленты, которые, свернутые в рулончики, хранились в старой жестяной коробке. Анджум кормила Зайнаб как на убой, водила ее на прогулки по окрестностям, а заметив, что девочке нравятся животные, тут же купила ей кролика, которого в первую же ночь загрыз кхвабгахский кот. Тогда Анджум купила козлика с клиновидной, как у мудреца, бородкой. Этот козлик жил во дворе и, сохраняя на физиономии абсолютно бесстрастное выражение, то и дело разбрасывал во все стороны свои блестящие какашки.

Кхвабгах за прошедшие годы стал много краше. Рухнувшую комнату отремонтировали и надстроили над ней еще один этаж, который Анджум теперь делила с Мэри. Анджум спала с Зайнаб на матрасе, положенном прямо на пол, прикрывая крошечное тельце своим могучим торсом, словно крепостной стеной. По вечерам Анджум пела Зайнаб колыбельные песенки, больше похожие на

страстный шепот. Когда девочка подросла, Анджум принялась рассказывать ей очень своеобразные сказки, поначалу совершенно не подходящие для маленького ребенка. Это была не совсем удачная, хотя и искренняя попытка наверстать упущенное, утвердиться в памяти и сознании Зайнаб, открыться девочке без прикрас, чтобы слиться с ней, стать одним целым. В результате получилось, что она использовала Зайнаб в качестве своего рода причала, на который выгружала груз: свои радости и трагедии, поворотные, катартические моменты своей жизни. От этих сказок Зайнаб мало того что плохо засыпала – ее либо мучили кошмары, либо она всю ночь лежала с открытыми глазами, дрожа от страха. Анджум и сама нередко плакала, рассказывая свои сказки. Дело кончилось тем, что Зайнаб стала панически бояться укладывания спать и всякий раз, ложась на матрас, плотно зажимала глаза, чтобы притвориться спящей и избежать страшного и мучительного ритуала. Со временем однако (не без мудрых советов молодых тетушек) Анджум стала подправлять сказки, редактировать их. Их смысл был успешно спрятан в недоступное для детей место, и в конце концов они так полюбились Зайнаб, что девочка стала с нетерпением ждать вечера, чтобы послушать какую-нибудь из волнующих историй.

Самой любимой стала «Сказка об эстакаде» – история о том, как однажды Анджум с подружками поздно вечером возвращалась из Дефенс-Колони в Южном Дели домой, к Туркменским воротам. Их было пять или шесть нарядно одетых девушек, заведенных приятной пирушкой в одном богатом доме, находившемся в квартале D. После вечеринки они решили прогуляться по свежему воздуху. Тогда еще в городе иногда был свежий воздух, как сказала Анджум Зайнаб. Когда они были на середине эстакады, ведущей от Дефенс-Колони – а это была тогда единственная эстакада в Дели, вдруг пошел сильный дождь. Но что может сделать человек, если дождь застиг его на середине эстакады?

– Он должен идти дальше, – обычно произносила Зайнаб рассудительным тоном взрослого человека.

– Совершенно верно. Вот мы и пошли дальше как ни в чем не бывало, – говорила Анджум. – И что случилось потом?

– Тебе захотелось пописать!

– Да, мне захотелось пописать!

– Но ты не могла остановиться!

– Да, я не могла остановиться.

– Тебе надо было идти дальше!

– Да, я должна была идти дальше.

– И мы пописали в гхагру! – восторженно восклицала в этом месте Зайнаб, потому что была в таком возрасте, когда самое главное, а иногда и единственное, что по-настоящему занимает ребенка, так или иначе связано с писанием, каканьем и пуканьем.

– Да, и это было самое приятное ощущение на свете, – говорила Анджум, – промокнуть под дождем на той огромной и пустынной эстакаде и идти мимо гигантского рекламного щита, на котором какая-то мокрая женщина вытиралась бомбейским махровым полотенцем.

– А полотенце было большим, как ковер!

– Да, большим, как ковер.

– А потом ты спросила ту женщину, не одолжит ли она тебе полотенце, чтобы вытереться.

– Да, и что ответила женщина?

– Она сказала: «Нахин! Нахин! Нахин!»[12 - Пошла прочь!]

– Да, она сказала: «Нахин! Нахин! Нахин!» Ну, вот мы промокли и шли дальше...

– И гарам-гарам (теплые-теплые) писи текли по вашим тханда-тханда (холодным) ножкам!

В этот момент Зайнаб неизменно засыпала с улыбкой на довольном личике. Теперь в историях Анджум отсутствовали даже намеки на несчастья и

страдания. Зайнаб очень нравилось, когда Анджум преображалась в сексуальную сирену, одетую в сверкающие наряды танцовщицу с блестящими, накрашенными ногтями, окруженную толпой поклонников.

Вот так, только для того чтобы угодить Зайнаб, Анджум принялась переписывать историю своей жизни, приукрашивая ее и делая счастливее. Это переписывание и в самом деле превратило Анджум в простую, счастливую личность.

Анджум многое выпустила из истории об эстакаде. Например, она умолчала о том факте, что все это происходило в 1976 году, в разгар объявленного Индирой Ганди чрезвычайного положения, которое продлилось двадцать один месяц. Избалованный младший сынок Индиры, Санджай Ганди, глава молодежного крыла Индийского национального конгресса (правившей тогда партии) и фактический руководитель государства, пользовался режимом ЧП, как своей любимой игрушкой. Гражданские права были отменены, газеты подвергались строжайшей цензуре, а во имя сокращения народонаселения тысячи людей (преимущественно мусульман) были согнаны в особые лагеря и насильно стерилизованы. Новый закон – о поддержании внутреннего порядка – позволял правительству арестовать любого человека на самых смехотворных основаниях. Тюрьмы были переполнены, а небольшая группка прихлебателей Санджая Ганди получила полную свободу безнаказанно исполнять все его чудовищные декреты.

В тот вечер праздник – свадьба, куда были приглашены Анджум и ее подруги, был прерван появлением полиции. Хозяин и три его гостя были арестованы и увезены на полицейских машинах без объяснения причин. Ариф, водитель фургона, привезший Анджум и компанию на празднество, попытался усадить пассажиров в машину и увезти прочь. За это своеволие ему сломали левую кисть и раздробили правую коленную чашечку. Женщин вытащили из машины и, пиная по задницам, как цирковых клоунов, велели убираться подобру-поздорову, пока их не арестовали за проституцию и непристойное поведение. В слепом страхе они, словно призраки, бежали в темноте под проливным дождем. Косметика текла по их лицам быстрее, чем они успевали переставлять ноги; промокшие полупрозрачные платья липли к телу и мешали бежать. Да, это было всего лишь унижение хиджр, ничего особенного, ибо такое отношение было тогда в порядке вещей – ерунда по сравнению с тем, что приходилось переживать другим в те жуткие месяцы.

Это было ничто, но в этом было что-то зловещее.

Однако, несмотря на облагораживающую правку, в истории об эстакаде было и зерно истины. Например, в ту ночь действительно шел дождь. Анджум на самом деле описалась на бегу. Над эстакадой действительно виселась реклама пестрых бомбейских полотенец. И женщина из рекламы действительно наотрез отказалась поделиться с Анджум полотенцем.

* * *

За год до того, как Зайнаб предстояло пойти в школу, ее мамочка уже начала готовиться к этому событию. Она навестила родной дом и с согласия брата Сакиба унесла в Кхвабгах собрание книг Мулаката Али. Теперь ее часто видели сидящей с книгой (отнюдь не Священным Кораном) на скрещенных ногах. Анджум шевелила губами и сосредоточенно водила пальцем по строчкам. Часто она закрывала глаза и принималась раскачиваться взад и вперед, словно усваивая прочитанное или роясь в трясине памяти и стараясь извлечь оттуда прежние знания.

Когда Зайнаб исполнилось пять, Анджум отвела ее к уstadу Хамиду, чтобы тот научил ее петь. С самого начала было понятно, что музыка не прельщает Зайнаб. На уроках она нервно ерзала на скамейке и так самозабвенно фальшивила, что, казалось, сама эта фальшь требовала от нее незаурядного мастерства. Терпеливый и добросердечный уstad Хамид только горестно качал головой, словно ему досаждала жужжащая муха, полоскал рот теплым чаем и снова напевал гармоничные ключи, что означало требование повторить ноту. В тех редких случаях, когда Зайнаб удавалось хотя бы на терцию приблизиться к истинному звучанию ноты, Хамид бывал просто счастлив и говорил: «That's my boy!» Эту фразу он позаимствовал из своего любимого мультфильма «Том и Джерри», серии которого он самозабвенно смотрел вместе со своими внуками, учившимися в английской средней школе. Это была высшая форма похвалы, независимо от пола ученика. Он хвалил Зайнаб не потому, что она этого заслуживала, но лишь ради Анджум и воспоминаний о том, как она (или он – когда Анджум еще звали Афтабом) прекрасно пела. Анджум всегда присутствовала на уроках – от начала и до конца. Теперь она, правда, не пела, а лишь уговаривала Зайнаб не фальшивить. Но все было бесполезно. Бандикуты не умеют петь.

Настоящей страстью Зайнаб, как оказалось, были животные. Девочка была настоящей грозой улиц Старого города. Она страстно желала освободить всех

облысевших и заморенных цыплят, теснившихся в грязных клетках, стоявших на крышах почти всех мясных лавок. Она заговаривала с каждым котом, перебежавшим ей дорогу, и таскала домой всех обнаруженных ею брошенных, окровавленных щенков, жалобно скуливших в сточных канавах. Зайнаб не слушала, когда ей говорили, что собаки – нечистые для мусульман животные и к ним нельзя прикасаться. Мало того, Зайнаб не бежала в страхе даже от огромных, покрытых грязной щетиной крыс, во множестве бегавших по улицам, по которым ей приходилось ходить. Казалось, что Зайнаб никогда не привыкнет к виду связок желтых куриных лапок, отрубленных бараньих ног, пирамид бараньих голов, пучивших на прохожих свои мертвые синие глаза, и жемчужно-белых бараньих мозгов, дрожавших, словно желе, в стальных чашках.

В дополнение к барану, который только благодаря Зайнаб поставил рекорд, пережив три Курбан-байрама, Анджум подарила дочке красивого петуха, который беспощадно клевал свою юную хозяйку за неумеренные проявления пылкой любви. Зайнаб громко плакала, но не от боли, а от обиды. Задиристость петуха охлаждала пыл Зайнаб, но ни на йоту не уменьшила ее привязанность к птице. Каждый раз, когда девочкой овладевал очередной приступ любви к петуху, она обвивала ручками ноги Анджум и целовала мамочкины колени, с тоской и любовью глядя на петушка в промежутках между страстными поцелуями, так что было ясно, кто настоящий предмет столь пылкого обожания и кому предназначаются поцелуи. Каким-то образом безумное обожание, какое Анджум испытывала к Зайнаб, преобразилось в слепую любовь, какую сама Зайнаб питала к животным. Нежность к животным, однако, не мешала Зайнаб с удовольствием поедать их мясо. Не реже двух раз в год Анджум возила Зайнаб в зоопарк, в крепость Пурана-Кила, Старый форт, чтобы девочка посмотрела на носорогов, гиппопотамов и своего любимца – детеныша гиббона с Борнео.

Через несколько месяцев после того, как Зайнаб стала посещать подготовительный класс начальной школы – ее официальными родителями числились Сакиб и его жена, – здоровье обычно крепенького Бандикута пошатнулось; девочка стала часто болеть, причем каждая болезнь делала ее более восприимчивой к следующим. Перед малярией был грипп, а перед гриппом две вирусные инфекции – одна легкая, а вторая – довольно неприятная. Анджум не отходила от дочки, пытаясь хоть как-то помочь ей и не обращая внимания на упреки в том, что она совершенно забросила свои обязанности в Кхвабгахе (теперь по большей части хозяйственные и административные). Она день и ночь нянчила своего Бандикута и все больше проникалась скрытой, но растущей паранойей. Она была убеждена, что на девочку навела порчу какая-то злодейка, завидовавшая ее (Анджум) счастью. Острые подозрений было, без малейших

сомнений, направлено на Саиду, относительно новую обительницу Кхвабгаха. Саида была намного моложе Анджум, и Зайнаб любила ее не сильно меньше, чем свою маму Анджум. Саида окончила университет и знала английский. Что еще важнее, она владела и современным языком – она свободно пользовалась такими терминами, как «цисгендерный мужчина», «Ж®М транссексуал» и «М®Ж транссексуал», а в интервью называла себя трансгендером. Анджум высмеивала Саиду за ее «транс-шванс» и упрямо продолжала называть себя хиджрой.

Подобно многим представительницам молодого поколения, Саида в подходящих случаях легко меняла камиз и шальвары на западную одежду – джинсы, юбки, блузки, открывавшие стройную мускулистую спину. То, чего ей не доставало в плане местной специфики и старомодного очарования, Саида с лихвой компенсировала современным умом, знанием законов и участием в движении за равные гендерные права (она даже выступала на двух международных конференциях). Все это позволяло Саиде играть в более высокой лиге. Недаром Саида смогла потеснить Анджум и в СМИ. Теперь звездой первой величины была она, а не ее старшая соперница. Иностранные газеты пожертвовали старой экзотикой в пользу нового поколения. Экзотика не соответствовала имиджу новой Индии – ядерной державы и привлекательного места для инвестиций мировых финансов. Устад Кульсум Би, прожженная старая волчица, была готова к этому ветру перемен и видела, какие выгоды сможет извлечь для себя Кхвабгах. Таким образом, Саида, хоть она и не обладала правом старшей, была самым реальным соперником Анджум за наследие Кульсум, которая, правда, подобно английской королеве, передавать никому бразды правления не спешила.

Наставница Кульсум Би до сих пор принимала все важные решения в Кхвабгахе, но повседневными делами уже не занималась. По утрам, когда ее мучил артрит, она возлежала во дворе на чарпае и грелась на солнышке, услаждая себя соком лайма и ломтиками манго. Рядом лежала газета с рассыпанной по ней пшеничной мукой – чтобы очистить ее от долгоносиков. Когда солнце поднималось выше и становилось жарко, Кульсум Би уносили в дом, где массировали ступни, а морщины смазывали горчичным маслом. Одевалась она теперь как мужчина: в длинную желтую курту – желтую, так как была последовательницей хазрата Низамуддина Аулия, – и клетчатый саронг. Редущие седые волосы были собраны в пучок и заколоты на макушке. В определенные дни приезжал ее старый друг Хаджи Миан, продавец сигарет и бетеля, и привозил аудиокассету с песнями из их любимого фильма «Великий Могол». Они оба знали наизусть все песни и диалоги кинокартины. Прослушивая

запись, они пели и повторяли слова героев. Дружья были свято убеждены, что никто и никогда уже не будет так красиво писать на урду и что ни у кого не будет такой дикции и такого произношения, как у несравненного Дилипа Кумара. Иногда уstad Кульсум Би исполняла роль падишаха Акбара и его сына принца Салима, героев фильма, а Хаджи Миан играл Анаркали (Мадхубалу), рабыню принца Салима, которую он верно любил. Временами дружья менялись ролями. Эти совместные представления были для них не чем иным, как поминками по былой славе умирающего языка.

Однажды вечером Анджум сидела у себя наверху и прикладывала холодные компрессы к пылающему лбу Бандикута, когда вдруг услышала внизу, во дворе, какое-то движение: слышались возбужденные голоса, топот множества ног и крики. Первой пришла мысль о пожаре. Такое случалось часто – оголенные электрические провода, свисавшие со столбов на улицах, соприкасались и вспыхивали жаркими искрами. Подхватив на руки Зайнаб, Анджум торопливо спустилась по лестнице во двор. Все обитатели Кхвабгаха теснились перед мерцающим экраном телевизора в комнате уstad Кульсум Би. Пассажирский самолет на экране врезался в высокое здание. Искореженный нос лайнера торчал из середины здания, как уродливая сломанная игрушка. Через несколько мгновений в такое же здание рядом врезался другой самолет и пролетел насквозь, превратившись в огненный шар. Обычно говорливые обитательницы Кхвабгаха буквально немели, глядя, как огромные, высокие дома рушатся, словно песчаные постройки. До самого горизонта все оказалось заволочено дымом и белой пылью. Но американская пыль выглядела не так, как индийская: даже она выглядела чистой и чужой. Из окон вываливались крошечные человеческие фигурки и летели вниз, как хлопья сажи.

Комментатор кричал, что это не фильм ужасов, что все это происходит на самом деле. В Америке, в городе, который называется Нью-Йорк.

Самое долгое молчание в истории Кхвабгаха было нарушено животрепещущим вопросом.

– Они там говорят на урду? – вслух поинтересовалась Басмала.

Никто ей не ответил.

Потрясение, воцарившееся в комнате, передалось и Зайнаб, которая, очнувшись от своего бреда, тут же впала в другой. Она не знала, что по телевизору можно по несколько раз проигрывать кадры, и насчитала десять самолетов, врезавшихся в десять зданий.

– Altogether ten[13 - Всего десять (англ.)], – торжественно произнесла она на своем новоприобретенном школьном английском и снова уткнулась пухлой горячей щечкой в уютную ложбинку на шее Анджум.

Ведьма, причинявшая страдание Зайнаб, заставила теперь содрогнуться весь мир. Это была настоящая сифли джааду, черная магия. Анджум украдкой бросила взгляд на Саиду, чтобы проверить, радуется ли та нагло своему успеху или притворяется невинной. Но коварная сука сделала вид, что потрясена так же, как и все остальные.

В декабре Старый Дели наводнили афганские семьи, бежавшие от самолетов, которые жужжали в их родном небе, как туча комаров, и стальным дождем бомб засыпали города и деревни. Конечно, у больших политиков (а в Старом Дели политиком был каждый лавочник и маулана) сразу возникли свои теории на этот счет. Что касается остальных, то никто не мог понять, какое отношение могут иметь эти несчастные люди к обрушению высоких башен в Америке. Да и как они могли знать? Кто мог – кроме Анджум – реально знать, что вдохновителем этой катастрофы был не террорист Усама бен Ладен, не президент США Джордж Буш-младший, а куда более мощная, но скрытая сила – Саида (урожденная Гуль Мохаммед), проживающая по адресу: Кхвабгах, квартал Гали-Дакотан, Дели – 110006, Индия.

Для того чтобы лучше разобраться в политике Дунии, в которой предстояло жить Бандикуту, и для того чтобы обезвреживать, а еще лучше предвосхищать чернокнижные козни образованной Саиды, мамочка начала внимательно читать газеты и смотреть телевизионные новости (когда остальные обитательницы Кхвабгаха уставали от мыльных опер).

Многие в Индии воодушевленно рукоплескали самолетам, врезавшимся в американские башни-близнецы. Поэт-премьер-министр[14 - Имеется в виду премьер-министр Ваджпай.] страны и несколько его главных министров были

членами старой Организации[15 - Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг Родины) – ультраправая националистическая организация, родоначальница нынешней правящей партии «Бхаратия джаната парти» (премьер-министр Моди, бывший в то время главным министром штата Гуджарат).], которая считала Индию индуистской страной, и поэтому – подобно тому как Пакистан провозгласил себя исламской республикой – Индия должна была провозгласить себя республикой индуистской. Некоторые сторонники и идеологи организации открыто восхищались Гитлером и сравнивали мусульман Индии с евреями Германии. Теперь, когда стала нарастать враждебность к мусульманам, членам Организации стало казаться, что весь мир перешел на ее сторону. Поэт-премьер-министр произнес проникновенную и впечатляющую речь, если не считать долгих пауз, в течение которых он то и дело терял нить. Премьер был старик, но имел юношеское обыкновение встряхивать головой в подтверждение своим словам, словно кинозвезды бомбейской киностудии в фильмах шестидесятых. «Муслим, он не любит Другого, – поэтично говорил премьер на хинди, а затем надолго – слишком надолго даже по его меркам – умолкал. – Он веру разносит террором». Это двестише он сделал рефреном всех своих выступлений. Каждый раз, когда он произносил «муслим» или «мусульманин», легкая шепелявость его речи воспринималась как лепет милого ребенка. Правда, по своим политическим взглядам он мог, пожалуй, даже считаться умеренным. Он предостерегал: то, что произошло в Америке, может легко произойти и в Индии, и что правительство должно принять – для предупреждения катастрофы – новый антитеррористический закон. Газеты на урду были полны статей о мусульманских юношах, убитых в столкновениях, которые полиция называла «перестрелками», или схваченных на месте преступления за подготовкой терактов. Был действительно принят новый закон, позволявший без суда месяцами держать подозреваемых в тюрьме. Очень скоро тюрьмы оказались забиты молодыми мусульманами. Анджум благодарила Аллаха за то, что Зайнаб – девочка. Это было безопаснее.

С наступлением зимы у Бандикута начался глубокий грудной кашель. Анджум поила ее с ложечки молоком с куркумой и не спала ночами, прислушиваясь к хриплому, свистящему дыханию девочки и сходя с ума от бессилия. Анджум пошла в даргу хазрата Низамуддина Аулии и поговорила с одним не слишком корыстным, давно знакомым ей кадимом, рассказала о болезни Зайнаб и спросила, как положить конец козням Саиды, как покончить с ее сифли джааду. Дело пошло вразнос, заявила Анджум кадиму, и дело не только в болезни Зайнаб, нет, нет, все куда серьезнее, и только она, Анджум, знает, в чем дело, и поэтому несет ответственность за последствия. Она готова на все, чтобы сделать то, что надо сделать. Она, сказала Анджум, готова заплатить любую

цену и, если надо, пойдет ради этого на виселицу. Саиду надо остановить, и Анджум пришла сюда, чтобы заручиться благословением кадима. Анджум вошла в театральный раж, на нее стали оглядываться, и кадиму пришлось приложить немало усилий, чтобы ее успокоить. Он спросил Анджум, посещала ли она даргу хазрата Гариба Наваза в Адждмере с тех пор, как в ее жизни появилась Зайнаб. Когда же Анджум ответила, прикрываясь разными причинами, что не смогла пока этого сделать, кадим сурово отчитал ее, сказав, что проблема именно в этом, а не в черной магии. Он отругал Анджум за веру в колдовство, обвинил в поклонении вуду, напомнив, что для таких случаев и существует ее защитник хазрат Гариб Наваз. Ему не удалось окончательно убедить Анджум, но она согласилась, что то, что она три года не посещала Адждмер-Шариф, было серьезной ошибкой.

Только в конце февраля Зайнаб оправилась настолько, что Анджум решила, что сможет оставить ее на несколько дней. Закир Миан, владелец и директор магазина цветов, согласился поехать вместе с Анджум. Закир Миан был другом Мулаката Али и знал Анджум с рождения. Ему было уже далеко за семьдесят, и он был слишком стар для того, чтобы смущаться общества хиджры. Магазин Закира Миана, собственно говоря, представлял собой невысокую цементную платформу площадью не более одного квадратного метра, ютившуюся под балконом родного дома Анджум, на углу между Читли-Кабаром и Матия-Махал-Чоком. Эту платформу Закир Миан арендовал сначала у Мулаката Али, а теперь у Сакиба. Торговал он цветами уже пятьдесят лет. Сидя на подстилке из мешковины, он целыми днями мастерил гирлянды из красных роз и (отдельно) из новеньких банкнот, которые он сворачивал в трубочки или складывал в крошечных птичек – для невест, вплетавших их в венки на день свадьбы. Главной заботой Закира Миана всегда была необходимость поддерживать розы свежими и влажными, а банкноты хрустящими и сухими на ограниченном пространстве его магазина. Закир Миан сказал, что ему надо съездить в Адждмер, а потом в Ахмедабад в Гуджарате, где у него было какое-то дело с семьей его жены. Анджум была готова ехать с Закиром в Ахмедабад – лишь бы не подвергаться риску быть оскорбленной или униженной (как от избыточного внимания, так и от пренебрежения), что было бы неизбежно, случись ей возвращаться из Адждмера одной. Закир Миан, со своей стороны, был уже стар и немощен, и он был рад, что Анджум поможет ему с багажом. В Ахмедабаде Закир Миан намеревался посетить гробницу Вали Дакхани, писавшего на урду поэта семнадцатого века, прозванного поэтом любви, которого безумно любил Мулакат Али, тоже искавший его благословения. Они составляли план путешествия, смеясь и повторяя любимое двустиие Мулаката Али:

Джисей исхк ка тиир каари лаге

Усей зиндаги киуун на бхари лаге

Кого сразил лук ангела любви,

Придавит горестъ бытия, увы.

Через несколько дней они сели в поезд. В Аджмер-Шарифе они провели два дня. Анджум протолкалась сквозь толпу паломников и купила за тысячу рупий зеленый с золотом чадар[16 - Накидка, покрывало.], чтобы пожертвовать его хазрату Гарибу Навазу от имени Зайнаб. Каждый день Анджум звонила по таксофону в Кхвабгах. На третий день, переживая за Зайнаб, она позвонила с вокзала, прежде чем сесть в экспресс «Гариб Наваз», идущий в Ахмедабад. После этого ни от Анджум, ни от Закира Миана не было никаких вестей. Его сын позвонил родственникам матери в Ахмедабад, но к телефону никто не подошел.

* * *

Вестей от Анджум не было, но новости из Гуджарата были ужасны. Железнодорожный вагон был подожжен какими-то преступниками, которых газеты называли «выродками». Шестьдесят паломников-индусов сгорели в огне заживо. Паломники возвращались домой из Айодхьи, куда они отвезли церемониальные кирпичи, предназначенные для фундамента большого индуистского храма, который предстояло возвести на месте старой мечети. Мечеть, Бабри-Масджид, была снесена десять лет назад бушующей, разъяренной толпой. Главный министр Гуджарата (бывший тогда в оппозиции и наблюдавший, как вопящая толпа разрушала мечеть), заявил, что поджог вагона – это, скорее всего, дело рук пакистанских террористов. Полиция, согласно новому закону, арестовала сотни мусульман – все они, с точки зрения полиции, были пособниками пакистанцев, живших в районе железнодорожного вокзала, – и бросила их в тюрьмы. Главный министр Гуджарата, лояльный член Организации (так же как министр внутренних дел и премьер-министр), готовился в это время к переизбранию. Он появился на телевидении в шафрановой куртке и с пятном киновари на лбу, и, глядя на зрителей холодными мертвыми глазами, объявил, что тела сожженных индусских паломников будут доставлены в Ахмедабад, столицу штата, где их выставят на всеобщее обозрение для публичного оплакивания. Пронырливое «неофициальное» лицо неофициально же объявило, что каждое подобное действие вызовет равное по

силе противодействие. Конечно же, это лицо не признавало Ньютона, потому что в удушливом климате страны официально считалось, что всю науку изобрели древние индусы.

Противодействие, если это можно так назвать, не было ни равным по силе, ни противоположно направленным. Убийства продолжались несколько недель, и не только в городах. Толпы фанатиков были вооружены мечами и трезубцами, а головы их были обмотаны шафрановыми головными повязками. На руках у активистов были адреса мусульманских домов, учреждений и лавок. Толпы орудовали газовыми баллонами (этим объяснялось их отсутствие в магазинах). Если раненых доставляли в госпитали, то толпа штурмовала госпитали. Полиция даже не регистрировала убийства. Чины полиции вполне резонно утверждали, что для регистрации им надо видеть трупы. Самое отвратительное заключалось в том, что полицейские часто были частью толпы, а когда толпа кончала свое дело, трупы было уже невозможно опознать – они даже не были похожи на трупы. Никто не стал возражать, когда Саида (которая любила Анджум, не ведая о ее мрачных подозрениях) предложила выключить мыльные оперы и включить новостной канал в призрачной надежде, что, может быть, им удастся хоть что-нибудь узнать о судьбе Анджум и Закира Миана. Когда возбужденные корреспонденты, крича, вели свои репортажи из лагеря беженцев, где теперь жили тысячи изгнанных из Гуджарата мусульман, в Кхвабгахе выключали звук и вглядывались в фон, надеясь увидеть Анджум и Закира Миана, стоящих в очереди за едой и одеялами или жмущихся друг к другу в палатке. По слухам, обитательницы Кхвабгаха знали, что гробницу Вали Дакхани разрушили до основания и через это место проложили асфальтированную дорогу, стерев всякое воспоминание о том, что его могила когда-то существовала. (Ни полиция, ни толпы, ни главный министр ничего не могли поделать с тем, что люди продолжали возлагать цветы на середине дороги, в том месте, где прежде была гробница. Проезжавшие автомобили превращали цветы в кашу, но на ее месте появлялись новые цветы, и кто смог бы хоть что-то сделать со связью между раздавленными цветами и поэзией?) Саида обзвонила всех своих знакомых журналистов и членов неправительственных организаций, прося их о помощи, но никто не был в силах помочь. Недели шли за неделями, но никаких вестей не было. Зайнаб окончательно поправилась и снова пошла в школу, но, вернувшись домой, постоянно капризничала и ни на шаг не отходила от Саиды.

* * *

Два месяца спустя, когда убийства стали спорадическими, а обстановка более или менее нормализовалась, старший сын Закира Миана Мансур в третий раз поехал в Ахмедабад на поиски отца. Из предосторожности он сбрил бороду и надел на запястья цветные нити, надеясь сойти за индуса. Он не нашел отца, хотя и узнал, что с ним произошло. Расспросы привели его в маленький лагерь беженцев в мечети на окраине Ахмедабада, где он, в мужской половине, нашел Анджум и привез ее в Кхвабгах.

Анджум коротко остригла волосы. То, что осталось на голове, напоминало шлем с отверстиями для ушей. Одета Анджум была, как молодой клерк, в темно-коричневые хлопчатобумажные брюки и клетчатую рубашку с коротким рукавом. Анджум сильно исхудала.

Зайнаб, хотя сперва и испугалась мужского обличья Анджум, все же поборола страх, раскинула ручки и бросилась в ее объятия, вереща от восторга. Анджум прижала ее к груди, но на слезы, вопросы и объятия обитательниц Кхвабгаха отвечала очень сдержанно и бесстрастно, словно приветствия были для нее тяжким, но неизбежным испытанием, которое надо было как-то пережить. Подруги были обижены и немного испуганы, но все же не скупились на сочувствие и заботу.

Анджум, как только смогла, поднялась к себе. Она вышла оттуда через несколько часов в своем прежнем облике – в женском платье, с помадой на губах и заколкой в волосах. Очень скоро стало понятно, что она просто не желала говорить о том, что произошло. Она не стала отвечать на вопросы о Закире Миане. Единственное, что она ответила: «Такова была Божья воля».

В отсутствие Анджум Зайнаб спала внизу с Саидой. Теперь она вернулась к Анджум, но та заметила, что девочка начала называть мамой и Саиду.

– Если она мама, то кто же тогда я? – спросила Анджум у Зайнаб несколько дней спустя. – Ни у кого не бывает двух мам.

– Ты – бад-мама, – ответила Зайнаб. – Большая мама.

Устад Кульсум Би строго-настрого приказала всем оставить Анджум в покое и позволить ей делать все, что она захочет, и так долго, как ей будет угодно.

Анджум и в самом деле хотела только одного – чтобы ее оставили в покое.

Она стала тихой, незаметной и проводила большую часть времени за книгами. За неделю она научила Зайнаб петь какую-то песенку, которую в Кхвабгахе не понял никто. Анджум сказала, что это санскритский гимн, мантра гуджарати. Она выучила ее в лагере для беженцев. Люди в лагере сказали, что очень полезно знать этот напев, чтобы пропеть его в толпе – так можно было сойти за индуса. Ни Зайнаб, ни Анджум не имели ни малейшего представления о содержании мантры, но девочка быстро выучила слова и мелодию и радостно напевала мантру раз по двадцать в день, собираясь в школу, складывая в стол книги и кормя козла:

Ом бхур бхувах сваха

Тат савитур вареньям

Бхарго девасья дхимахи

Дхийо йо нах прачодаят

Однажды утром Анджум ушла из дома, взяв с собой Зайнаб. Вернулась она с неузнаваемым Бандикутом. Волосы были коротко острижены, а сама девочка была одета как мальчик – в детский патхани, вышитую курточку и джутти, с мисками, загибающимися вверх, как нос гондолы.

– Так будет безопаснее, – объяснила Анджум. – Гуджарат может в любой день повториться и в Дели. Теперь мы будем звать ее Махди.

Всю дорогу до дома Зайнаб громко плакала, видя кур в грязных клетках и брошенных щенков в сточных канавах.

Был созван экстренный совет. Его назначили на те два часа, когда отключали электричество, чтобы никто не жаловался, что приходится пропускать сериал. Зайнаб отправили поиграть с внуками Хассана Миана. Петушок Зайнаб тихо дремал на своей полке за телевизором. Председательствовала на совете устэд Кульсум Би, возлежавшая на кровати с подоткнутым под спину свернутым ватным одеялом. Все остальные сидели на земле. Анджум скромно стояла у входа. В беспощадном синем свете фонаря «Петромакс» лицо Кульсум Би было

похоже на пересохшее речное русло, а редкие седые волосы – на отступивший ледник, с которого некогда текли полноводные потоки. По случаю мероприятия она надела новые, но плохо подогнанные зубные протезы. Говорила она театрально и властно. Казалось, что ее слова относятся к новым обительницам Кхвабгаха, хотя на самом деле они были обращены к Анджум.

– У этого дома, у этого владения есть своя непрерывная история, такая же древняя, как история нашего разрушенного города. Эти обшарпанные стены, этот протекающий потолок, этот залитый солнцем двор – все это было когда-то прекрасным. На полах лежали ковры, привезенные из Исфахана, потолки были отделаны зеркалами. Когда шахиншах Шах-Джахан построил Красный форт и Джама-Масджид, когда он воздвиг этот окруженный стенами город, он построил и этот каменный дом. Дом для нас. Всегда помните, что мы – не какие-нибудь хиджры, взявшиеся неизвестно откуда. Мы – хиджры Шахджаханабада. Наши властители настолько полагались на нас, что поручали нашему попечительству своих жен и матерей. Когда-то мы были желанными гостями в частных апартаментах Красного форта. Все они исчезли, растворились в небытии – могущественные императоры и их супруги. Но мы до сих пор здесь. Подумайте об этом и спросите себя: почему так должно быть?

Красный форт всегда играл выдающуюся роль в рассказах уstad Кульсум Би об истории Кхвабгаха. Когда-то, в прежние дни, когда Кульсум Би была еще крепка телом, выход в форт на представление «Звук и свет» был неременной частью инициации новых обительниц Кхвабгаха. Они шли в форт группой, облаченные в свои лучшие одежды, с цветами, вплетенными в волосы, взявшись за руки и рискуя здоровьем и жизнью в водовороте Чандни-Чуок, на которой царил дикое смешение машин, автобусов, рикш и извозчиков. Все это двигалось с черепашьей скоростью, но умудрялось сталкиваться и калечить друг друга.

Форт нависал над Старым гордом, как массивное, гигантское песчаниковое плато. Форт был такой органичной частью горизонта, что жители перестали его замечать. Если бы не настояния уstad Кульсум Би, то, наверное, никто из обительниц Кхвабгаха не стал бы совершать этот утомительный поход, даже Анджум, которая родилась и выросла в тени форта. Когда они пересекали крепостной ров – вонючую яму, кишевшую комарами и заваленную отбросами – и входили в величественные ворота, город перестал существовать, словно его никогда и не было. Мартышки с крошечными безумными глазками скакали вверх и вниз по мощным песчаниковым валам, возведенным с таким изяществом, какое не могло бы даже присниться современным архитекторам. Внутри форта был

другой мир, другое время, другой воздух (пропитанный марихуаной) и другое небо – не узкая, ограниченная улицами полоса, едва видимая за пучками спутанных электрических проводов, а бескрайний синий простор, в котором, подрагивая в мареве, плыли воздушные змеи, поддерживаемые восходящими потоками горячего воздуха.

Представление «Звук и свет» было одобренной старым правительством версией (новое правительство пока не успело дотянуться до этого праздника) истории Красного форта и императоров, правивших отсюда более двухсот лет – от Шах-Джахана, построившего форт, и до Бахадура Шах-Зафара, последнего могола, отправленного британцами в изгнание после неудачного восстания 1857 года. Устад Кульсум Би знала только официальную версию, хотя ее понимание прочитанного могло быть не столь ортодоксальным, как хотелось бы авторам истории. Во время этих визитов Кульсум Би и ее маленькая группа занимали места вместе с остальной публикой – преимущественно, туристами и школьниками – на рядах деревянных скамей, под которыми пережидали дневную жару полчища комаров. Для того чтобы не быть до смерти искусанными, публике приходилось вести себя достаточно вольно, исступленно болтая ногами в честь каждой коронации, войны, массовых убийств, побед и поражений.

Особый интерес Кульсум Би проявляла к середине восемнадцатого века, эпохе правления императора Мохаммеда Шах-Рангилы, легендарного ценителя удовольствий, музыки и живописи – самого веселого из всех Великих Моголов. Би всегда заставляла своих подопечных обращать особо пристальное внимание на 1739 год. Этот год начинался с грохота конских копыт, который, исподволь возникнув где-то за рядами скамей, становился все громче, Громче и ГРОМЧЕ. Это шла кавалерия Надир-Шаха, совершавшая свой победный марш из Персии через Газни, Кабул, Кандагар, Пешавар, Лахор и Сирхинд, опустошая эти славные города по пути к Дели. Военачальники Мохаммед-Шаха предупреждают его о приближающейся беде, но беспечный император велит музыкантам продолжать игру. В этот момент свет окрашивается в огненные тона пурпурного, красного и зеленого пламени. Зенана при этом охвачена розовым огнем (естественно!), а в звуках явственно слышен женский смех, шелест шелка и позвякивание ножных браслетов. Потом, совершенно неожиданно, этот ласковый, негромкий звонкий шелест перекрывается почти осязаемым, низким, отчетливым и хриплым смехом придворного евнуха.

– Вот! – восклицала в этот момент уstad Кульсум Би тоном торжествующего энтомолога, только что подцепившего сачком редкую бабочку. – Вы слышали? Это про нас. Это наши предтечи, это наша история, это рассказ про нас. Мы никогда не были чернью, как видите, мы служили во дворцах правителей.

Это был очень краткий момент, неуловимое, как удар сердца, мгновение, но это не имело никакого значения. Важно было то, что это существовало реально. Присутствовать в истории – пусть даже в образе мимолетной усмешки – было совсем не то же самое, что полное в ней отсутствие, исключение из череды важных предшественников. В конце концов, даже грубый смешок мог быть опорой для прорыва в будущее.

Уstad Кульсум Би приходила в ярость, если кто-то по невниманию упускал этот важный и трепетный момент. Она злилась так искренне, что опытные хиджры загодя инструктировали новичков притворяться, что они не пропустили этот негромкий смех, даже если они не обратили на него ни малейшего внимания. Уstad Кульсум Би могла устроить публичную сцену.

Однажды Гудия попыталась довести до сведения уstad Кульсум Би, что хиджры пользовались почетом и в индуистской традиции, рассказав ей историю о Раме и его жене Сите. Когда князь Рама и его супруга Сита вместе с младшим братом Рамы Лакшманой были изгнаны из царства на четырнадцать лет, весь народ, движимый любовью к Раме, последовал за ними, поклявшись везде сопровождать его. Когда они достигли окрестностей Айодхьи, где начинался густой дремучий лес, Рама обратился к своему народу и сказал: «Я желаю, чтобы все вы – мужчины и женщины – вернулись домой и ожидали меня там до моего возвращения». Не смея ослушаться царя, мужчины и женщины вернулись в город. Только хиджры верно дожидались царя на опушке леса все четырнадцать лет, потому что он забыл упомянуть их.

– Так нас помнят только потому, что о нас забыли? – ответила на это уstad Кульсум Би. – Вах-вах!

Анджум очень живо, во всех подробностях, помнила свое первое посещение Красного форта, но по своим личным причинам. Это был ее первый выход в свет после операции, сделанной доктором Мухтаром. Пока они стояли в очереди за билетами, люди глазели на иностранных туристов, стоявших в очереди в другую кассу, где билеты были намного дороже. Иностранные же туристы глазели на хиджр, в особенности на Анджум. Какой-то молодой человек, хиппи с острым

взглядом и редкой, как у Иисуса, бородкой, восхищенно смотрел на нее. Она взглянула на него, и взгляды их встретились. В ее воображении этот молодой человек превратился в хазрата Сармада Шахида. Она представила его себе, голого, тонкого и хрупкого, но сохраняющего горделивую осанку и смотрящего прямо в глаза злобным бородатым кази, не дрогнувшего, даже услышав смертный приговор. Однако она едва не отпрянула, когда турист подошел к ней.

– Ты чертовски красива, – сказал он. – Одно фото? Можно?

Впервые в жизни кто-то изъявил желание ее сфотографировать. Польщенная, Анджум перебросила косу с вплетенной красной лентой через плечо и взглянула на уstad Кульсум Би, безмолвно спросив разрешения. Оно было даровано. Анджум позировала, неловко опершись на крепостной вал, отведя назад плечи и вздернув подбородок – демонстрируя вызов и страх одновременно.

– Спасибо, – сказал молодой человек. – Большое тебе спасибо.

Анджум так и не увидела фотографию, но этот снимок стал началом чего-то волнующего и неизведанного.

Где-то он теперь? Один только Бог знает.

Мысли Анджум вернулись к совещанию в комнате уstad Кульсум Би.

Упадок и разнузданность наших правителей привели к крушению Великих Моголов, говорила между тем Кульсум Би. Принцы развлекались с рабынями, императоры разгуливали нагишом, роскошествуя в то время, когда их народ голодал и бедствовал – как могла такая империя уцелеть? Была ли у нее даже возможность уцелеть? (Никто, слышавший, как уstad играет принца Салима в «Великом Моголе», не мог бы даже во сне представить себе, что уstad станет отзываться о нем с таким осуждением. Кто бы мог подозревать, что, невзирая на ее гордость за наследие Кхвабгаха и его близость к имперскому величию, в ее душе прячется социалистический гнев против разврата властителей и нищеты народа.) Потом Кульсум Би заговорила о жизни согласно принципам и о железной дисциплине, двух добродетелях, которые она считала краеугольным камнем Кхвабгаха – его силой, позволившей ему существовать столетия, невзирая на бедствия и превратности судьбы, притом что рушились куда более

прочные и величественные институты.

Заурядные миряне из Дунии, что они знают о том, что значит быть хиджрой? Что знают они о правилах, о дисциплине и жертвенности? Кто сегодня знает, что было время, когда самой уstad Кульсум Би приходилось просить милостыню на перекрестках? Кто знает, что им пришлось строить свою жизнь шаг за шагом, преодолевая унижение за унижением, чтобы достичь сегодняшнего благополучия? Кхвабгах был назван так, потому что сюда пришли благословенные люди со своими мечтами, непонятными для обитателей Дунии. В Кхвабгахе святые души, заточенные в ложных телах, обрели свободу. (Вопрос о том, что случилось бы с Кхвабгахом, если бы мужские души были заточены в женских телах, уstad Кульсум Би затрагивать не стала.)

Однако – после слова «однако» Кульсум Би сделала многозначительную театральную паузу, которая могла бы посрамить даже шепелявого поэта-премьер-министра, – главное правило Кхвабгаха – это манзури. Согласие. Люди из Дунии распространяют злобные слухи о хиджрах, похищающих маленьких мальчиков для кастрации. Она, уstad Кульсум Би, не знает и не может сказать, случаются ли где-нибудь такие вещи, но в Кхвабгахе – и Всемогуший этому свидетель – не происходит ничего без манзури.

После этого уstad Кульсум Би заговорила о том, ради чего созвала совещание. Всемогуший вернул нам Анджум, сказала она. Она не желает рассказывать нам, что произошло с ней и Закиром Мианом в Гуджарате, и мы не можем принуждать ее к этому. Об этом мы можем только гадать. Гадать и сочувствовать. Но, проявляя сочувствие, мы не можем допустить нарушения наших принципов. Заставлять девочку жить как мальчик против ее желания, даже ради ее собственной безопасности, – это значит запереть ее в клетку, а не освободить. Этого не может происходить в Кхвабгахе, и этот вопрос не подлежит обсуждению.

– Она – мой ребенок, – ответила на это Анджум. – Я буду решать, что делать. Я могу покинуть Кхвабгах и уйти с ней, если захочу.

Это дерзкое заявление никого не смутило, даже наоборот, все снова увидели прежнюю Анджум – царицу, склонную к театральным эффектам. Беспокоиться было не о чем, так как идти Анджум было просто некуда.

– Ты можешь поступать как тебе вздумается, но ребенок останется с нами, – сказала уstad Кульсум Би.

– Ты уже добрых полчаса толкуешь о манзури, а теперь хочешь сама все решить за нее? – возразила Анджум. – Мы спросим у нее. Зайнаб захочет уйти со мной.

Такой тон в разговоре с уstad Кульсум Би был недопустимым. Даже для человека, уцелевшего в страшной бойне. Все умолкли, ожидая, что произойдет дальше.

Уstad Кульсум Би закрыла глаза и попросила убрать из-под ее спины свернутое покрывало. Она вдруг ощутила страшную, невероятную усталость, повернулась лицом к стене и, свернувшись калачиком, подложила под голову согнутую руку. Не открывая глаз, глухим, словно доносящимся издалека голосом она посоветовала Анджум обратиться к доктору Бхагату и принимать лекарства, которые он пропишет.

Совещание на этом закончилось. Обитательницы Кхвабгаха разошлись. Фонарь, шипевший, как раздраженный кот, вынесли из комнаты.

* * *

Анджум, конечно, никуда не собиралась уходить, но слово было сказано, и оно заронило в душу мысль, которая стала сдавливать Анджум, словно питон.

Она отказалась идти к доктору Бхагату, поэтому к нему отправилась целая делегация во главе с Саидой. Доктор Бхагат был маленьким человечком с аккуратно подстриженными офицерскими усами, и пахло от него тальком, смешанным с цветочным маслом. Доктор отличался быстрыми, птичьими движениями, часто перебивал пациентов и каждые несколько минут отвлекался сам, шмыгая носом и барабанил шариковой ручкой по столу. Руки его были покрыты густой порослью черных волос, на голове же их почти не было. Доктор выбрил широкую полосу на левом запястье, которое облегал напульсник, которым теннисисты вытирают пот, а поверх него красовались массивные золотые часы. Доктор мог без помех в любой момент узнать, который час. В то утро он был одет, как всегда, – в безупречно чистый белый костюм и сверкающие белые летние туфли. На спинке стула висело такое же чистое белое

полотенце. Клиника находилась в убогом и грязном квартале, но сам доктор Бхагат был невероятно чистоплотен. Впрочем, он вообще был хорошим человеком.

Делегация во главе с Саидой ввалилась в кабинет в полном составе и заняла все свободные стулья и кресла. Те, кому не хватило мест, уселись на подлокотниках. Доктор Бхагат принимал пациенток из Кхвабгаха парами и тройками (они никогда не приходили поодиночке), но на этот раз их было слишком много, что сразу насторожило врача. Он даже немного растерялся.

– Кто из вас пациент? – осведомился он.

– Никто, доктор-сахиб.

Саида, взявшая на себя роль представителя, попыталась – не без помощи остальных – как можно точнее описать изменения в поведении Анджум: появившиеся задумчивость, замкнутость, грубость, склонность к чтению и, что самое главное и серьезное, – неповиновение. Саида рассказала врачу о болезнях Зайнаб и тревоге Анджум. (Она, правда не рассказала о подозрениях Анджум в отношении ее сифли джааду, так как не имела о них ни малейшего представления.) Делегация – после оживленного обсуждения проблем – решила не касаться событий в Гуджарате по следующим причинам:

а) они не знали, что именно произошло там с Анджум – если вообще произошло;

и

б) потому что на столе у доктора Бхагата стоял большой серебряный (или, может быть, посеребренный) Шри Ганеша[17 - Существо с головой слона и телом человека, сын Шивы и Парвати, бог мудрости в индуистском пантеоне.]. Вокруг статуэтки курился дым ароматных палочек.

Конечно, из этого факта не стоило делать далеко идущих выводов, но было непонятно, как доктор отнесся к событиям в Гуджарате, и поэтому делегация решила деликатно обойти этот вопрос стороной.

Доктор Бхагат (подобно миллионам других верующих индусов, потрясенный до глубины души событиями в Гуджарате) внимательно слушал, шмыгая носом и стуча ручкой по столу, глядя на пришедших проницательными птичьими глазками, увеличенными толстыми стеклами очков в золотой оправе. Наморщив лоб и на минуту задумавшись о том, что услышал, он спросил, привело ли к чтению желание Анджум покинуть Кхвабгах или, наоборот, чтение привело ее к желанию покинуть Кхвабгах. Мнения по этому поводу разделились. Одна молодая делегатка по имени Мехер вспомнила, что когда-то Анджум говорила ей, что хочет вернуться в Дунию и помогать бедным. Это вызвало у хиджр взрыв неподдельного веселья. Доктор Бхагат без улыбки спросил, что забавного они в этом нашли.

– Доктор-сахиб, какой же бедняк захочет, чтобы ему помогала хиджра? – недоуменно спросила Мехер, и все они снова захихикали, смеясь самой мысли о том, как напугает бедняка предложение помощи с их стороны.

На листке своего блокнота доктор Бхагат написал своим мелким каллиграфическим почерком: «Больная, отличавшаяся прежде открытостью, послушанием и веселым нравом, стала проявлять неповиновение и мятежность».

Пришедшим доктор сказал, чтобы они не волновались, и выписал рецепт на таблетки (которые он выписывал всем от всех болезней), которые должны были успокоить мятежный дух Анджум и подарить ей глубокий, освежающий сон. После этого она сможет сама прийти к нему на прием.

Анджум наотрез отказалась принимать таблетки.

Дни шли за днями. Обычная безмятежность Анджум постепенно целиком уступила место беспокойству и резкости. Это беспокойство бежало по жилам, словно восстало против ложного счастья, в иллюзорном плену которого она провела всю свою жизнь.

Она добавила рецепт доктора Бхагата к другим вещам, которые сложила во дворе. Когда-то она очень ценила их, но теперь просто поднесла к ним горящую спичку. Среди сжигаемых предметов оказались:

– три документальных фильма (о ней);

- два гляцевых альбома с фотографиями (ее);
- шесть фотографий из иностранных журналов (изображавших ее);
- альбом с вырезками из иностранных газет на более чем тринадцати языках, включая такие издания, как «Нью-Йорк таймс», лондонскую «Таймс», «Гардиан», «Бостон глоб», «Глоб энд мейл», «Монд», «Коррьере делла сера», «Стампа» и «Цайт» (все со статьями о ней).

Дым от костра взметнулся к небу, заставив кашлять всех, включая козла. Когда пепел остыл, Анджум втерла его себе в лицо. В тот вечер Зайнаб перенесла свою одежду, обувь, рюкзак и пенал в форме ракеты в шкаф Саиды. Зайнаб больше не хотела спать с Анджум.

- Мама всегда недовольна, - таково было точное и беспощадное объяснение Зайнаб.

Сердце Анджум было разбито. Она достала все свои вещи из годреджского шкафа и упаковала драгоценности - шелковые гхарары и сари, джумки, браслеты для щиколоток и запястий - в жестяные коробки. Для себя она взяла два патхани - один серый, другой коричневый; купила в комиссионном магазине синтетическую куртку и пару мужских туфель, которые она носила без носков. Приехал потрепанный грузовичок, и Анджум погрузила в него шкаф и коробки. Она уехала, никому не сказав куда.

Но даже теперь никто не воспринял всерьез ее поступок. Все были уверены, что она вернется.

* * *

Уже через десять минут грузовичок, увозивший Анджум из Кхвабгаха, оказался в совершенно другом мире.

Машина остановилась у заброшенного, неухоженного кладбища, небольшого и почти забытого. Хоронили здесь теперь очень редко. Северным краем кладбище упиралось в городскую больницу и морг, где хранились трупы бродяг и

неопознанных личностей – до тех пор, пока полиция не решала, как ими распорядиться. Большинство трупов кремировали, но некоторых хоронили на этом кладбище. Если покойник был при жизни мусульманином, то его хоронили в не обозначенную никакими камнями или знаками могилу, и со временем он исчезал, удобрив почву, на которой пышно росли старые деревья.

Обычных могил с надписями было около двух сотен. Старые могилы отличались большей красотой, камнями с резными надписями. Новые могилы были попроще. Здесь были похоронены представители нескольких поколений семьи Анджум – Мулакат Али, его отец и мать, его дед и бабушка. Старшая сестра Мулакаты Али, бегум Зинат Каузер (тетка Анджум), была погребена рядом с ним. После Разделения она переехала в Лахор. Прожив там десять лет, она оставила мужа и детей и вернулась в Дели, сказав, что не может жить там, где нет делийской Джама-Масджид. (По какой-то неведомой причине лахорская мечеть Бадшахи ее не устроила.) Отразив три попытки полиции депортировать ее как пакистанскую шпионку, бегум Зинат Каузер поселилась в Шахджаханабаде, в крошечной комнатке с кухней и видом на ее любимую мечеть. Квартирку она делила с вдовой, своей ровесницей, а на жизнь зарабатывала, продавая баранью корму в один ресторан Старого города, куда приходили иностранные туристы, горевшие желанием отведать блюда национальной кухни. Зинат пользовалась одним котлом в течение тридцати лет и вдыхала запах кормы с таким же наслаждением, с каким другие женщины вдыхают аромат дорогих духов. Даже когда жизнь покинула ее и она упокоилась в могиле, от нее вкусно пахло деликатесом Старого Дели. Рядом с останками бегум Зинат Каузер была похоронена Биби Айеша, старшая сестра Анджум, умершая от туберкулеза. Невдалеке была видна могила Ахлам Баджи, акушерки, принявшей новорожденную Анджум. За несколько лет до смерти Ахлам Баджи растолстела и почти обезумела. Каждый день ее, похожую на королеву помойки, видели шествующей по улицам. Седые волосы образовывали ком вокруг головы, словно Ахлам только что окунула голову в молоко ослицы. Женщина никогда не расставалась с потертым пакетом из-под азотистых удобрений, набитым пустыми бутылками, где была когда-то минеральная вода, рваными воздушными змеями, аккуратно сложенными плакатами и листовками, собранными ею после больших политических митингов в квартале Рамлила. В те дни своего упадка и угасания Ахлам Баджи постоянно задирала существ, которым когда-то помогла родиться на свет. Эти существа уже и сами были взрослыми мужчинами и женщинами, отцами и матерями, но Ахлам Баджи непристойно оскорбляла их, проклиная те дни, когда они родились на свет. Никто не обижался на ее оскорбления; обычно в ответ люди лишь смущенно улыбались, как улыбаются люди, которых как подопытных морских свинок приглашают на сцену фокусники

и гипнотизеры. Ахлам Баджи была всегда сыта, ей никто не отказывал в крыше над головой. Еду она принимала – злобно и с таким видом, словно, принимая ее, делала дающему невероятное одолжение. Однако она не принимала предложений где-то пожить. Она жила на улице, страдая летом от жары, а зимой – от холода. Однажды утром ее нашли мертвой у входа в магазин канцелярских товаров и копировальных услуг Алифа Зеда. Она умерла, прижимая к груди неизменный пакет из-под удобрений. Джаханара-бегум настояла на том, чтобы несчастную женщину похоронили на их семейном кладбище. Тело обмыли, а прощальную молитву прочел имам, которого позвала Джаханара-бегум. В конце концов, именно Ахлам Баджи приняла всех ее пятерых детей.

Рядом с могилой Ахлам Баджи было последнее пристанище другой женщины, на камне которого было (по-английски) написано: «Бегум Рената Мумтаз-мадам». Бегум Рената была исполнительницей танца живота – родом из Румынии. Она выросла в Бухаресте, но всегда мечтала об Индии и ее классических танцах. В девятнадцать лет она автостопом пересекла континент и прибыла в Дели, где напоролась на посредственного учителя Катхака, который сделал ее своей наложницей, не слишком заботясь о ее обучении танцу. Для того чтобы прокормиться, Рената начала выступать с номерами в баре «Розовый бутон» (местные называли его не иначе как «Розовый мутон»), расположенном в живописных развалинах Фероз-Шах-Котлы, пятом из семи древних городов, из которых возник Дели. Сценическим псевдонимом Ренаты было имя Мумтаз. Умерла она молодой, обманутой аферистом, который, влюбив ее в себя, скрылся со всеми ее сбережениями. Рената продолжала сохнуть по этому негодяю, хотя и понимала, что тот обманул ее. Она все дальше и дальше уходила от мира, стала прибегать к заклятиям и вызыванию духов. Часто она впадала в транс, во время которого кожа ее надувалась лопающимися пузырями, а голос становился низким и мужеподобным. Обстоятельства ее смерти так и остались неясными, но все были убеждены, что она покончила с собой. Рошан Лал, неразговорчивый официант из «Розового бутона», строгий моралист, ненавистник танцовщиц (и неизменный объект их шуток), на удивление самому себе, организовал похороны и начал приносить на ее могилу цветы. Потом он стал приходить на ее могилу каждый вторник (в свой выходной). Именно этот человек установил на ее могиле (за которой он «присматривал», как он сам это называл) камень, а потом добавил к ее именам спереди «бегум», а сзади «мадам». Прошло уже семнадцать лет после смерти Ренаты Мумтаз. У Рошана Лала по тощим икрам растеклись, словно змеи, толстые варикозные вены, он оглох на одно ухо, но все равно продолжал приезжать с цветами на кладбище на своем старом черном дребезжавшем велосипеде. Это были разные цветы – маргаритки, увядшие розы,

а когда у него не было денег, то несколько веточек жасмина, купленных у детей, торгующих дешевыми цветами на перекрестках под светофорами.

Помимо основных могил, было еще несколько неприметных, о которых шли споры, потому что никто в точности не знал, кто именно в них похоронен. Например, на одном камне было просто написано: «Бадшах». Некоторые утверждали, что это была могила одного из младших могольских принцев, повешенного англичанами после подавления восстания 1857 года, но другие считали, что это могила какого-то суфийского поэта из Афганистана. Была еще одна могила с надписью «Ислахи». Некоторые говорили, что это военачальник императора Шах-Алама II, а другие настаивали на том, что это местный сутенер, которого в шестидесятые годы убила ножом обманутая им проститутка. Как обычно, каждый верил в то, во что хотел верить.

В первый же вечер, после небольшой рекогносцировки, Анджум поставила годреджский шкаф и весь свой остальной нехитрый скарб у могилы Мулаката Али, а ковер и постель расстелила между могилами Ахлам Баджи и бегум Ренаты Мумтаз-мадам. Неудивительно, что в первую ночь она так и не смогла уснуть. Нет, никто ее не тревожил – джинны не стремились познакомиться с ней, и никакие духи мертвецов не преследовали ее. Любители героина в северной части кладбища – тени на фоне ночных теней – неслышно кучковались на горах больничных отбросов в море старых бинтов и использованных шприцев и, казалось, вовсе не замечали ее присутствия. В южном конце кладбища вокруг костров сидели группки бездомных, поджаривая на огне свое скудное пропитание. Бесприютные псы, куда более здоровые, нежели люди, усевшись на почтительном расстоянии от бродяг, вежливо ожидали остатков нищего пиршества.

В таком окружении Анджум – в иной ситуации – чувствовала бы себя неуютно, инстинктивно ощущая опасность, но грызущая безутешная скорбь хранила ее. Освободившись от необходимости соблюдать какие-то социальные правила, безмерная скорбь, словно крепость с ее фортами, башнями, стенами, мрачными подземельями, обступила Анджум со всех сторон с рокотом, напоминавшим приближающийся рев разъяренной толпы. Задыхаясь, она, словно отчаявшийся беглец, петляла по золоченым палатам и залам крепости, пытаясь спрятаться от самой себя. Она старалась разогнать скопище желто-оранжевых людей с желто-оранжевым оскалом. Эти люди преследовали ее со своими трезубцами и насаженными на них младенцами и не желали рассеиваться. Анджум пыталась прикрыть дверь, за которой, свернувшись комочком, посреди улицы лежал Закир

Миан – маленький и аккуратный, как птичка, несущая серебряные яйца. Но Закир не желал лежать, он тоже преследовал Анджум, скорчившийся, лежащий на окровавленном ковре-самолете. Анджум изо всех сил старалась забыть его взгляд, каким он смотрел на нее до того, как в них погас свет жизни. Но он не отпускал ее.

Она пыталась сказать ему, что храбро отбивалась, когда они тащили ее прочь от его безжизненного тела.

Но она знала, что не сопротивлялась.

Анджум старалась забыть свое знание о том, что они сделали с другими, стереть его – знание о том, как они сгибали мужчин и разгибали женщин. Как они разрывали их, выдергивая руки и ноги, и швыряли их в огонь.

Но она знала, очень хорошо знала, что она все знала.

Они.

Они, кто это?

Ньютонианская армия, воинство, стремившееся воплотить закон действия и противодействия. Тридцать тысяч желто-оранжевых попугаев со стальными когтями и окровавленными клювами, дружно орущие:

Муссальман ка эк хи стхан! Кабристан йя Пакистан!

Одно из двух для мусульман! Могила или Пакистан!

Анджум, притворившись мертвой, распростерлась на теле Закира Миана. Фальшивый труп фальшивой женщины. Но попугаи, несмотря на то что были – или притворялись таковыми – чистыми вегетарианцами (это было первым условием приема в их ряды), прислушались к ее дыханию со сновкой и чутьем кровожадной ищейки. Естественно, они поняли, что она жива, и поняли, кто она. Тридцать тысяч голосов, напомнив о любимом присловье Бирбаль, завопили:

Ай Хай! Саали ранди хиджра! Шлюха-хиджра и сестра шлюхи! Мусульманская шлюха-хиджра!

Тут вдруг раздался громкий голос переполошившегося попугая:

Наби яар, мат маро, хиджрон ка маарна апсхагун хота хай!

Не убивай ее, брат! Убийство хиджры приносит несчастье.

Несчастье!

Ничто не могло так напугать этих убийц, как будущее несчастье или невезение. Действительно, пальцы этих убийц сжимали рукоятки мечей и сверкающих кинжалов, инкрустированные толстыми золотыми кольцами, отводящими порчу и сглаз. Ничего, что стальная арматура, которой эти звери забивали насмерть людей, была обвита от дурного глаза цветными нитками – обвита любящими и заботливыми матерями. Приняв такие предосторожности от сглаза, стоило ли так его бояться?

Они склонились над ней и заставили громко, нараспев декламировать свой клич:

Бхарат Мата Ки Джай! Ванде Матарам!

Она декламировала, плача, дрожа всем телом, испытывая унижение, какого не испытывала даже в самых кошмарных снах.

Победа Матери Индии! Поклоняюсь тебе, мать!

Они оставили ее в живых. Они не убили ее. Они вообще не причинили ей никакого вреда. Ее не согнули и не разогнули. Ее одну из всех. Теперь удача должна была благословить их.

Удача мясников.

Теперь это будет с ней всю жизнь. Чем дольше будет она жить, тем больше удачи она принесет им.

Она снова попыталась стереть это знание, мечась по своему форту. Но все было тщетно. Она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала, что она очень хорошо знала...

Главный министр Гуджарата с холодными, как у змеи, глазами и пятном киновари на лбу должен был выиграть следующие выборы. Даже после того, как поэт-премьер-министр потерпел неудачу в центре, этот выиграл выборы в Гуджарате. Некоторые считали его ответственным за массовые убийства, но избиратели называли его «Гуджарат ка Лалла» – Любимцем Гуджарата.

* * *

Прожив на кладбище несколько месяцев, Анджум своим жутким видом, своей дикой призрачностью распугала всех местных джинов и духов. Она подстерегала скорбящих родственников, хоронивших своих мертвецов, отчаянной скорбью, много превосходившей их горе. Анджум перестала ухаживать за собой и красить волосы, которые мертвенно побелели у корней, но остались ближе к середине черными, как вороново крыло, и это придавало Анджум какой-то... полосатый вид. На лице – щеках и подбородке – проступила растительность, которой Анджум когда-то страшилась больше всего на свете. Эта щетина покрывала нижнюю часть лица, словно игольчатый иней. Благодаря дешевым гормонам, которые Анджум принимала всю жизнь, эти ростки не превратились в настоящую бороду. Один передний зуб, красный от постоянного жевания бетеля, сильно расшатался. Когда Анджум говорила или улыбалась (что, правда, случалось довольно редко), этот кроваво-красный зуб колебался, словно язычок концертины, игравший свою неведомую и устрашающую мелодию. Правда, этот устрашающий вид имел для Анджум и свои преимущества – люди боялись подходить к ней, и даже мальчишки опасались бросать в нее камни и выкрикивать оскорбления.

Господин Д. Д. Гупта, старый клиент Анджум, плотская тяга которого к ней уже давно переросла в душевную привязанность, нашел Анджум и посетил ее на кладбище. Господин Гупта был строительным подрядчиком из Кароль-Багха, поставлявшим строительные материалы – арматуру, цемент, камень и кирпичи. Господин Гупта привез на кладбище немного кирпичей и несколько асбестовых плит со стройки одного своего богатого клиента и помог Анджум соорудить некое подобие маленькой хижины, в которой она могла при желании запереть свои пожитки. Время от времени господин Гупта навещал Анджум и следил,

чтобы она ни в чем не нуждалась и не причиняла себе вреда. Когда после вторжения американцев в Ирак господин Гупта уехал в Багдад (где он надеялся обогатиться на поставках бетонных блоков для восстановления разбитых бомбами стен), он попросил свою жену посылать водителя с горячей едой для Анджум не реже трех раз в неделю. Госпожа Гупта, считавшая себя гопи, почитательницей бога Кришны, находясь под влиянием своего гадала, была уверена, что пребывает в седьмом, последнем цикле своих перерождений. Это давало ей право вести себя так, как ей хочется, не беспокоясь, что придется заплатить за свои грехи в следующей жизни. У нее были свои любовные притязания, хотя она утверждала, что, когда достигает сексуальной кульминации, экстаз, который она чувствует, направлен на божественное существо, а не на ее любовника. Она очень любила мужа, но была страшно довольна, что свои сексуальные аппетиты он удовлетворяет за столами других женщин, и она тем более была счастлива исполнить эту его пустяковую просьбу.

Перед отъездом господин Гупта купил Анджум дешевый мобильный телефон и научил ее, как отвечать на звонки (входящие звонки были бесплатны), а также как делать ему «пропущенные звонки», если ей вдруг надо будет поговорить с ним. Через неделю Анджум потеряла телефон, и когда господин Гупта позвонил из Багдада, ему ответил какой-то плачущий пьяница, который требовал соединить его с матерью.

Помимо этих сочувствующих, были у Анджум и другие визитеры. Саида несколько раз привозила к Анджум Зайнаб. Девочка могла показаться бессердечной, но на самом деле это было лишь проявлением тяжелой психической травмы. (Когда Саида поняла, что эти посещения причиняют лишь сильную боль и Анджум, и Зайнаб, визиты прекратились.) Один раз в неделю приезжал брат Анджум, Сакиб. Даже уstad Кульсум Би собственной персоной, в сопровождении своего друга Хаджи Миана, а иногда и с Басмалой приезжала к Анджум на велорикше. Кульсум Би позаботилась о том, чтобы Анджум получала своего рода пенсию от Кхвабгаха – деньги Анджум получала в конверте по первым числам каждого месяца.

Но самым частым гостем был уstad Хамид. Он появлялся на кладбище каждый день, кроме среды и воскресенья. Приходил Хамид на рассвете или в сумерки, садился на чью-нибудь могилу, ставил перед собой фисгармонию Анджум и начинал петь томительный риаз, рагу «Лалит» по утрам и рагу «Шуддх-кальян» по вечерам: «Тум бин каун кхабар мори лаит... Кто еще спросит меня о моих делах?» Он демонстративно игнорировал издевательские требования

непрощеной публики исполнить какой-нибудь последний болливудский хит или популярное каввали (в девяти случаях из десяти речь шла о «Дум-а-дум маст каландар»). Эти, с позволения сказать, заявки громко звучали из уст бродяг и наркоманов, не решавшихся, впрочем, переступить невидимую границу негласно установленных владений Анджум. Иногда на окраине кладбища трагические тени, одурманенные героином и алкоголем, поднимались на ноги и принимались пританцовывать в своем непостижимом ритме. Когда угасал (или зарождался) свет дня, а голос устада Хамида начинал в полную силу звучать над источенным ландшафтом и его источенными обитателями, Анджум, скрестив ноги, садилась спиной к устату на могилу бегум Ренаты Мумтаз-мадам. Она не говорила ни слова и не смотрела на учителя, но по сведенным от напряжения плечам он видел, что она внимательно его слушает, и не возражал. Он видел ее насквозь; он верил, что, если не он, то его музыка сможет проникнуть в ее душу.

Но ни доброта, ни жестокость не могли заставить Анджум вернуться в старую жизнь, в Кхвабгах. Потребовались годы для того, чтобы схлынула волна горя и страха. Ежедневные приходы имама Зияуддина, их мелкие (а иногда и принципиальные) споры и его просьба к Анджум, чтобы она каждое утро читала ему газеты, помогли Анджум вернуться в Дунию. Постепенно форт скорби уменьшился до обиталища вполне терпимых размеров. Он стал домом, местом предсказуемой, умиряющей печали – ужасной, но надежной. Желто-оранжевые мужчины вложили мечи в ножны, поставили в угол трезубцы и покорно вернулись к своим трудовым будням, отвечая на звонки, подчиняясь приказам, избивая жен и сносно коротая время до своего следующего кровавого выхода. Желто-оранжевые попугаи до поры спрятали свои когти, позеленели и замаскировались в листве баньянов, откуда уже исчезли белобокие грифы и воробьи. Убитые, согнутые мужчины и разогнутые женщины посещали Анджум все реже и реже. Один только Закир Миан никак не желал оставлять ее в покое. Правда, со временем он перестал гнаться за ней – теперь он просто везде сопровождал Анджум, словно постоянный, но не слишком требовательный спутник.

Анджум снова начала ухаживать за собой. Она выкрасила волосы хной и стала щеголять огненно-оранжевой прической. Она избавилась от растительности на лице, ей удалили качавшийся зуб и вставили имплант, и теперь среди кроваво-красных пеньков красовался сверкающий блеском слоновой кости клык. Тревога не покинула Анджум, но стала более привычной. Она продолжала носить патхани, но теперь они поменяли расцветку. Стали более пастельными, светло-голубыми и розовыми, что гармонировало со старыми, расшитыми блестками дупаттами. Анджум немного пополнела, округлилась и теперь заполняла свою

одежду, которая перестала висеть на ней, словно на чучеле.

Но Анджум ни на минуту не забывала о том, что она – всего лишь удача мясников и убийц. На всю оставшуюся жизнь отношение Анджум ко Всей Оставшейся Жизни – даже если со стороны и казалось по-другому – стало неустойчивым и небрежным.

Форт горя съезжился, но зато разрослась жестяная хижина. Сначала она превратилась в домик, куда можно было поставить кровать, а потом в домик побольше, где помещалась уже маленькая кухня. Чтобы не привлекать ненужного внимания, Анджум оставила наружные стены домика грубыми и неотделанными. Однако изнутри дом был аккуратно оштукатурен и покрашен в необычный беловато-розовый цвет. Анджум построила веранду вокруг домика, расширив черепичную крышу и подперев ее железными балками. На эту террасу она поставила пластмассовый стул и зимой, сидя на нем, сушила после мытья волосы и подставляла солнцу свои потрескавшиеся, шелушащиеся голени. Сидя на стуле, как на троне, она обзревала свое царство мертвых. Двери и оконные переплеты Анджум выкрасила в светло-зеленый, фисташковый цвет. Бандикут, превратившийся в молодую женщину, снова начал приходить, но всегда вместе с Саидой и никогда не оставаясь на ночлег. Анджум не просила и не настаивала и ничем не выказывала своих чувств, но боль не утихала и не проходила; сердце Анджум так и не смогло смириться с этой потерей.

Один раз каждые несколько месяцев муниципальные власти приклеивали к входной двери домика Анджум предупреждение, в котором говорилось, что бездомным категорически запрещено жить на кладбище и что в течение недели незаконно возведенное строение будет снесено. Анджум не раз говорила им, что она не живет на кладбище, она там умирает, и на это ей не нужно разрешение муниципальных властей, потому что у нее есть разрешение от Всемогущего.

Ни один из муниципальных чиновников так и не набрался мужества исполнить угрозу, так как не хотел неприятностей из-за Анджум с ее былыми связями и способностями. К тому же, как и все смертные, они боялись нанести обиду хиджре. Чиновники избрали тактику умиротворения и мелкого вымогательства. Анджум была вынуждена платить чиновникам не совсем незначительную сумму денег, а кроме того, готовить невегетарианскую пищу на Дивали и Курбан-байрам. Чиновники также постановили, что если дом станет больше, то вырастет и сумма.

Со временем Анджум укрыла строениями могилы своих близких. Каждое помещение окружало могилу (или две), в нем помещалась и кровать. Или две. Здесь же Анджум устроила ванную и туалет с септиком. Воду она брала из общественной колонки. Имам Зияуддин, к которому очень плохо относились сын и невестка, стал у Анджум постоянным гостем. Теперь он дневал и ночевал на кладбище и почти перестал ходить домой. Анджум начала сдавать комнаты проезжающим (реклама была исключительно устной, передававшейся из уст в уста). Нельзя сказать, что постояльцев было много, учитывая, что окружение, ландшафт и обстановка, не говоря уже о качестве жилья, могли прийти по вкусу отнюдь не всем. Надо сказать, что и не все претенденты могли удостоиться милости хозяйки импровизированной гостиницы. Анджум была капризна и иррациональна в своем выборе, и никогда нельзя было наперед сказать, кого она пустит, а кого выгонит – часто, сопровождая действие грубостью на грани оскорбления («Кто тебя сюда прислал? Иди и трахни себя в жопу!»). Такое напутствие могло сопровождаться устрашающим гортанным рыком.

Преимущество хостела на кладбище заключалось в том, что здесь, в отличие от многих куда более приличных отелей, никогда не отключали электричество – даже летом, и все потому, что Анджум воровала электроэнергию из сети больничного морга, где электричество было необходимо круглосуточно для холодильников, в которых лежали покойники (бомжи, которые при жизни никогда не пользовались такими шикарными удобствами). Свой постоянный двор Анджум называла «Джаннат» – «Рай». Днем и ночью она смотрела телевизор, говоря, что ей нужен звук, чтобы укреплять мозги. Она усердно смотрела все новости и скоро стала непревзойденным политическим аналитиком. Мало того, Анджум смотрела мыльные оперы на хинди и фильмы ужасов про вампиров на английском. Эти фильмы она пересматривала по много-много раз. Диалоги она, конечно, не понимала, но очень хорошо понимала чувства вампиров.

Постепенно «Джаннат» превратился в пристанище для хиджр, по тем или иным причинам выпавших из гхаран. После того как по градам и весям разнесся слух о постоялом дворе Анджум, у нее стали регулярно появляться подруги из прошлого. Самое невероятное, что приехала Ниммо Горакхпури. Встретившись, они обнялись и расплакались, как влюбленные, воссоединившиеся после долгой разлуки. Ниммо стала постоянным гостем. Она приезжала часто и каждый раз задерживалась на два или три дня. Выглядела Ниммо умопомрачительно со своей превосходной фигурой, украшениями, кольцами и браслетами. Ухожена она была на зависть. Она приезжала из Мевата, что в двух часах езды от Дели, на своей маленькой «Марути». В Мевате у нее были две квартиры и небольшая

ферма, где она выращивала баранов на Курбан-байрам и продавала их за хорошие деньги богатым мусульманам в Дели и Бомбее. Смеясь, она рассказывала Анджум о хитрых трюках – как сделать барана жирным за одну ночь и как взвинтить цены в ночь перед жертвоприношением. Она сказала, что со следующего года начнет продавать жертвенных животных через интернет. Они с Анджум договорились, что следующий Курбан-байрам они отметят у Анджум на кладбище с мясом лучшего барана. Она показала на своем роскошном смартфоне лучших животных. Теперь она была увлечена баранами так же, как когда-то была увлечена западной женской модой. Она рассказывала Анджум, как различить баранов разных пород, а под конец показала видео с петухом, который говорил: «Йа Аллах!» каждый раз, когда взмахивал крыльями. Анджум обрела опору под ногами. Это знает даже обычный петух! Анджум еще больше утвердилась в вере.

Ниммо, верная своему слову, презентовала Анджум молодого черного барашка с поистине библейскими витыми рогами. Ниммо клялась, что это был точно такой же баран, какого принес в жертву хазрат Ибрахим вместо своего возлюбленного сына Исхака, если не считать, что у хазрата Ибрахима баран был белым. Анджум выделила барану отдельное помещение (точнее, отдельную могилу) и принялась любовно за ним ухаживать. Она старалась любить его не меньше, чем любил Ибрахим своего Исхака. Любовь, во всяком случае, это ингредиент, который позволяет отличить жертву от заурядного убоя скота. Она сплела ему из мишуры ошейник, а к лодыжкам прикрепила колокольчики. Барашек тоже полюбил Анджум и ходил за нею всюду, словно пришитый. (Перед приходом Зайнаб Анджум снимала с лодыжек барашка колокольчики и прятала его, ибо понимала, что произойдет, если Зайнаб его обнаружит). Когда приблизился праздник жертвоприношения, город оказался забит отставными, вышедшими на заслуженный отдых верблюдами, буйволами и баранами величиной с доброго пони. Все эти животные ждали забоя. Барашек Анджум превратился в красивое животное высотой под четыре фута – сплошные мышцы и раскосые желтые глаза. Люди приходили на кладбище только затем, чтобы на него полюбоваться.

Анджум договорилась с Имраном Курейши, восходящей звездой среди молодых мясников Шахджаханабада, чтобы он выполнил жертвоприношение. У Имрана уже было несколько заказов, и он сказал, что сможет прийти только вечером. Когда настал праздник жертвоприношения, Анджум поняла, что если она сама не пойдет к Имрану, то его по дороге перехватят другие жаждущие и она сегодня его не дождет. Одевшись как мужчина в чистый и отутюженный патхани, она пустилась от дома к дому по следам Имрана. Последним пунктом должно было стать жилище одного политика, бывшего члена законодательной

ассамблеи, проигравшего прошлые выборы с разгромным результатом. Чтобы сгладить неловкое впечатление от позора и показать, что поражение – случайность и он готов к следующим победам, политик решил продемонстрировать беспримерное благочестие. Жертвенная буйволица лоснилась от масла, которым ее умастили. Ее едва провели по узким улицам, и в жертву ее было решено принести на перекрестке, ибо только там нашлось место для маневра. Буйволицу положили по диагонали перекрестка и привязали передние ноги к фонарному столбу. Множество людей в нарядных одеждах теснились в окнах и дверях, жаждающая посмотреть, как Имран будет приносить в жертву это великолепное животное. Он пришел, пробравшись сквозь толпу, стройный, тихий, скромный. Услышав нарастающий шум толпы, буйволица начала дрожать всем телом и дико вращать глазами. Она откинула назад свою огромную рогатую голову и выгнулась дугой, раскачиваясь из стороны в сторону, словно меломан, впавший в транс на концерте классической музыки. Ловким движением прирожденных дзюдоистов Имран с помощником перевернули корову набок, после чего Имран вскрыл ей сонную артерию и отскочил в сторону, чтобы пульсирующая в такт замирающим биениям сердца струя крови не обдала его с ног до головы. Кровь жирными брызгами падала на опущенные жалюзи лавок, на лица улыбающихся политиков, смотревших с плакатов, наклеенных на стены домов. Кровь ручьем текла по мостовой мимо припаркованных мотоциклов, скутеров, повозок рикш и велосипедов. Девочки в украшенных камешками сандалиях с визгом бросились в стороны, чтобы не испачкаться в этом потоке. Мальчики, наоборот, притворялись, что им это нравится, а самые смелые ступали в лужи крови, а потом любовались своими кровавыми следами. Буйволице понадобилось порядочно времени, чтобы истечь кровью до смерти. Когда же она, наконец, околела, Имран вскрыл труп и принялся выкладывать на землю органы – сердце, селезенку, желудок, печень и кишки. Улица была покатою, и органы покатались вниз по склону, словно лодки, увлекаемые кровавой рекой. Помощник Имрана останавливал их и возвращал назад, выискивая более ровные места. Ободрать шкуру и закончить разделку туши должны были уже другие люди. Мастер-класс был окончен. Имран вытер нож куском материи, оглядел толпу, встретился взглядом с Анджум и едва заметно кивнул ей. Протиснувшись сквозь толпу, он зашагал прочь. Анджум догнала его у следующего переулочка. Улицы были полны занятым народом. Козлиные шкуры, бараньи рога, бычьи черепа, мозги и потроха собирали, сортировали и складывали в кучки. Кал выдавливали из кишок, которые предстояло вымыть и сварить, превратив затем в мыло или клей. Кошки восторженно пировали, радуясь небывалой добыче. Ничто не должно было пропасть даром.

Имран и Анджум дошли до Туркменских ворот, где сели на моторикшу и поехали на кладбище.

Анджум, исполнявшая роль хозяина дома, подняла нож над головой великолепного барана и прочла молитву. Имран перерезал ему горло и крепко держал его, пока не прекратились последние конвульсии и вся кровь не вытекла из безжизненного тела. Через двадцать минут баран был ободран, освежеван и разрублен на достаточно мелкие куски, после чего Имран попрощался и ушел. Анджум разложила баранину на небольшие порции, чтобы разделить их, как сказано в писании: треть семье, треть родным и близким, треть бедным. Она отдала Рошану Лалу, приехавшему поздравить ее с Курбан-байрамом, пластиковый пакет с языком и частью бедра. Лучшие же куски она приберегла для Зайнаб, которой только что сравнялось двенадцать, и для устада Хамида.

Наркоманы в тот вечер наелись от души. Анджум, Ниммо Горакхпури и имам Зияуддин сидели на террасе и пировали, наслаждаясь тремя сортами баранины и горой бирьяни. Ниммо подарила Анджум смартфон, на который предварительно загрузила видео с кричащим петухом. Анджум сердечно обняла подругу и сказала, что теперь будет чувствовать себя так, будто может напрямую общаться с Богом. Они несколько раз посмотрели видео и подробно описали его имаму Зияуддину. Слух вполне заменял имаму зрение, но все же он не мог полностью разделить восторг своих сотрапезниц. Потом Анджум сунула телефон за пазуху. Его она не потеряла. Через несколько недель водитель господина Гупты, который по-прежнему неукоснительно приезжал к Анджум, передал ее новый номер своему боссу, и общение Анджум с Гуптой возобновилось. Господин Гупта звонил ей из Ирака, где он, кажется, решил поселиться навсегда.

Наутро после Курбан-байрама постоянный двор Анджум принял еще одного постоянного гостя – молодого человека, который сам себя называл Саддамом Хусейном. Анджум его почти не знала, но очень любила, любила настолько, что предложила ему помещение по смехотворно низкой цене – меньше, чем он бы заплатил за любую комнату в Старом городе.

Когда Анджум познакомилась с Саддамом, он работал в морге. Он был одним из десятка молодых людей, которые непосредственно работали с трупами. Доктора-индусы – собственно, это они должны были производить вскрытия, – считали себя представителями высшей касты и не прикасались к мертвецам,

боясь оскверниться. Люди, на деле выполнявшие вскрытия, работали, как правило, уборщиками и принадлежали к касте уборщиков и кожевников, а сами называли себя чамарами. Врачи, как и большинство индусов, смотрели на них свысока и считали неприкасаемыми. Врачи обычно становились на почтительном расстоянии от трупов и, зажимая носы платками, давали указания – где делать разрез и что делать с органами и внутренностями. Саддам был единственным мусульманином среди уборщиков, работавших в морге. Как и они, он постепенно приобрел навыки неплохого хирурга-любителя.

У Саддама была тонкая улыбка и красивые, прихотливо изогнутые ресницы. Он был горячо привязан к Анджум и часто выполнял для нее мелкие поручения – покупал ей яйца и сигареты (она никому не доверяла покупку овощей) или таскал от колонки ведро с водой в те дни, когда у Анджум болела спина. Временами, когда в морге было мало работы (с сентября по ноябрь, когда люди не мерли на улицах, как мухи, от жары, простуды или денге), Саддам приходил в гости, Анджум заваривала чай и делилась с ним сигаретой. В один прекрасный день Саддам, не предупредив Анджум, исчез. Когда она поинтересовалась у его коллеги из морга, где он, коллега ответил, что Саддама уволили из-за ссоры с одним из врачей. Саддам явился только через год, на следующее утро после праздника жертвоприношения. Он немного похудел, поистрепался и пришел не один, а в обществе такой же худой и облезлой белой кобылы по кличке Пайяль. Одет Саддам был очень стильно, в джинсы и футболку с надписью «Это твоё место или мое?». Саддам носил темные очки, которые не снимал даже в помещении. Он рассказал Анджум странную историю о том, как дерево обожгло ему глаза.

После увольнения из морга Саддам, по его словам, сменил множество мест – он побывал разнорабочим в магазине, автобусным кондуктором, продавцом газет в Нью-Дели и наконец в полном отчаянии нанялся каменщиком на стройку. Там он подружился с одним охранником, и тот познакомил его со своим боссом, Санджитой-мадам. Санджита-мадам оказалась пышнотелой веселой вдовой, но, вопреки своей легкомысленной внешности и склонности к болливудским песенкам, она была железной леди, державшей в кулаке охранное предприятие «Сейф-н-Саунд», насчитывавшее более пятисот охранников. Контора Санджиты-мадам находилась в подвале бутылочной фабрики, в новом промышленном районе, который словно гриб после дождя, вырос на окраине Дели. Охранники мадам работали по двенадцать часов шесть дней в неделю с одним выходным днем. За свои труды Санджита-мадам забирала шестьдесят процентов заработка каждого охранника, и людям едва хватало на еду и весьма скромную крышу над головой. Тем не менее на работу к Санджете-мадам жаждали

устроиться тысячи человек – уволенные в запас солдаты, отправленные в бессрочные отпуска рабочие, отчаявшиеся найти себя в большом городе деревенские жители, образованные люди, необразованные люди, упитанные здоровяки и исхудавшие от голода дохляки. «Там была куча охранных компаний, расположенных по соседству друг от друга, – рассказывал Саддам. – Ты бы видела, на кого мы были похожи, когда по первым числам каждого месяца приходили в контору за деньгами... нас были тысячи... было такое впечатление, что в мире существуют только три категории людей – охранники, люди, которым нужны охранники, и воры».

Санджита-мадам оказалась очень умелым казначеем и не выбрасывала деньги на ветер. Она умела выбирать людей. На работу она брала не самых оборванных и исхудавших, а затем проводила с ними однодневный инструктаж. Все обучение сводилось к умению стоять по стойке смирно, отдавать честь и говорить: «Да, сэр», «Нет, сэр», «Добрый день, сэр» и «Доброй ночи, сэр». После инструктажа новоиспеченному охраннику вручали фуражку, галстук на резинке и два комплекта формы с логотипом компании, вышитым на эполетах. При выдаче формы Санджита-мадам брала залог выше стоимости униформы на случай, если человек улизнет, не вернув обмундирования. Солдат своей маленькой частной армии Санджита-мадам рассылала по всему городу. Они охраняли частные дома, школы, фермы, банки, торговые автоматы, магазины, ярмарки, кинотеатры, частные огороженные домовладения, отели, рестораны, посольства и консульства самых бедных стран. Саддам сказал Санджите-мадам, что его зовут Даячанд (потому что любому идиоту было ясно, что при такой нетерпимости охранник с мусульманским именем являл бы собой феномен внутренне противоречивый). Будучи грамотным молодым человеком приятной наружности, Саддам очень легко получил работу у Санджиты-мадам. «Я посмотрю на тебя, – пообещала она в первый же день, окинув его оценивающим взглядом. – Если докажешь, что ты стоящий работник, то станешь через три месяца контролером». В составе группы из двенадцати человек мадам отправила его охранять Национальную галерею современного искусства, где проходила индивидуальная выставка одного из самых известных современных индийских художников, человека, который, родившись в крошечном захолустном городишке, сумел добиться международного признания. Служба охраны галереи заключила договор с компанией «Сейф-н-Саунд».

Все экспонаты представляли собой вполне заурядные бытовые вещи, сделанные исключительно из нержавеющей стали, – стальные водяные баки, стальные мотоциклы, стальные весы со стальными фруктами на одной чашке и стальными гирями – на другой, стальные шкафы со стальными платьями, стальной

обеденный стол со стальными тарелками, на которых лежала стальная еда, и стальная машина такси, на стальном багажнике которой лежали стальные чемоданы и баулы. Все это великолепие, выполненное с невероятным правдоподобием, превосходно освещалось. Экспонаты занимали несколько залов, и в каждом из них неотлучно находились двое охранников Санджиты-мадам. Самый дешевый экспонат, поведал Анджум Саддам, стоил как двухкомнатная квартира из категории для малоимущих. Так что все экспонаты вместе стоили не меньше, чем средней руки кондоминиум. Главным спонсором выставки был журнал «Сначала искусство», принадлежавший крупнейшему стальному магнату.

Саддам (Даячанд) получил особое, самое, пожалуй, почетное задание – ему выпало охранять сделанное в половину натуральной величины, но абсолютно натуральное скульптурно-стальное изображение баньяна со стальными воздушными корнями, спускавшимися до пола и составившими целую рощу из нержавеющей стали. Дерево это привезли в громадном деревянном ящике с другой выставки, из Нью-Йорка. Саддам с большим интересом наблюдал, как это чудо распаковывали и устанавливали на специальных, вкопанных глубоко в землю сваях на лужайке Национальной галереи. На ветвях стального баньяна висели стальные ведра, стальные судки с блюдами, стальные кастрюли и сковородки. (Было такое впечатление, словно стальные батраки развесили на стальных ветвях свои стальные обеды и отправились пахать стальными плугами стальные поля и засеивать их стальными семенами стальной пшеницы.)

– Эту часть я не понял, – признался Саддам.

– А остальные ты понял? – смеясь, поддразнила его Анджум.

Живший в Берлине автор прислал строгие инструкции относительно своего шедевра. Он возражал против оград и барьеров вокруг стального дерева. Зрители должны были непосредственно контактировать с деревом, а не глазеть на него из-за перегородок. Посетители могли, если хотели, трогать дерево и гулять в стальной роще воздушных корней. И посетители на самом деле так и поступали. Во всяком случае, большинство, сказал Саддам, за исключением дневных часов, когда солнце стояло высоко и от прикосновения к стали можно было нешуточно обжечься. В обязанности Саддама входило следить, чтобы никто не вздумал нацарапать на стали свое имя или как-нибудь иначе испортить экспонат. Кроме того, Саддам был должен протирать дерево и содержать его в чистоте, для чего ему выдали тряпки из поношенного сари, специально

сконструированную стремянку и шампунь «Джонсонз бэби». Сначала задание показалось Саддаму невыполнимым, но на самом деле все оказалось намного проще, чем он воображал. Чистить дерево было нетрудно, главная проблема заключалась в другом. Саддаму приходилось не отрываясь смотреть на нестерпимо сверкавшее в лучах солнца стальное дерево. Это было все равно что смотреть прямо на солнце. Через два дня Саддам попросил у Санджиты-мадам разрешения носить темные очки. Она отклонила просьбу, сказав, что это будет неприемлемо для дирекции музея, которая сможет усмотреть в ношении темных очков пренебрежение обязанностями охранника. Тогда Саддам придумал хитрость – он смотрел на дерево пару минут, а потом на некоторое время отворачивался. Однако за семь недель, что дерево простояло в галерее, до того как его снова упаковали и отправили в Амстердам, на следующую выставку мастера, Саддам порядком обжег глаза. Они сильно болели и постоянно слезились. Ходить днем по улице было просто невозможно, и Саддам стал носить темные очки. Из конторы его уволили, потому что кому нужен заурядный охранник, который одевается, как телохранитель кинозвезды? Санджита-мадам сказала Саддаму, что он не оправдал ее надежд и она полностью в нем разочаровалась. В ответ Саддам такими словами обозвал мадам, что его вытолкали из ее кабинета взащей.

Анджум одобрительно захихикала, когда Саддам сказал ей, как именно он обозвал босса. Она предоставила Саддаму комнату, построенную над могилой ее сестры, Биби Айеши. Для своей белой кобылы Саддам пристроил нечто вроде конюшни к импровизированной купальне. Ночами Пайяль стояла там, сопя и фыркая. Интересная картина была: белая кобыла ночью на кладбище – такое не приснится даже в кошмарном сне. Днем кобыла превращалась в делового партнера Саддама. Они вместе ежедневно обходили самые большие госпитали Дели. Подойдя к воротам, Саддам останавливал лошадь и принимался стучать молотком по подкове, притворяясь, что подгоняет ее под копыто кобылы. Пайяль придавала всему действию невероятную достоверность. Когда к нему подходили встревоженные родственники тяжело больных пациентов, Саддам с видимой неохотой расставался со старой подковой, которая могла принести удачу неведомому ему страдальцу. Естественно, подкова уходила в чужие руки не бесплатно. Помимо того, у Саддама всегда был с собой набор самых популярных медикаментов – модных антибиотиков, кроцина, сиропа от кашля – и целый букет растительных средств. Все это Саддам по сходной цене сбывал людям, приезжавшим к делийским госпиталям из окрестных деревень. Многие приезжие останавливались во дворах больниц или просто на улицах, потому что были слишком бедны для того, чтобы оплатить самую дешевую комнатуху. Ночью Саддам, словно принц, верхом на Пайяль возвращался на кладбище. Дома

он хранил целый мешок старых подков. Одну из них он подарил Анджум, и она повесила ее на стену рядом с рогаткой. Были у Саддама и другие деловые интересы. Он продавал корм для голубей в тех местах, где водители часто останавливались, чтобы заслужить благословение свыше, покормив угодных Богу птиц. В те дни, когда Саддам не объезжал госпитали, он приходил на эти места с пакетами зерна и мелкими монетами на сдачу. После того как водитель, исполнив свой долг, уезжал, Саддам, к великому огорчению голубей, собирал зернышки, ссыпал их в пакет и принимался ждать следующего клиента. Все это – мнимое кормление голубей и эксплуатация суеверий отчаявшихся людей – сильно утомляло и приносило весьма ненадежный доход, но зато над Саддамом не было босса, а это, как известно, дорогого стоит.

Вскоре после того, как Саддам поселился у Анджум, они вместе с имамом Зияуддином занялись еще одним делом. Все началось совершенно случайно, а потом раскрутилось само собой. Однажды, ближе к вечеру, на кладбище появился Анвар Бхай, владелец расположенного поблизости публичного дома. Он приехал с телом Рубины, одной из девушек, внезапно умершей от гнойного аппендицита. С Анваром явились восемь его девушек в паранджах и трехлетний мальчик, сын Анвара Бхая, которого вела за руку одна из девушек. Все были сильно расстроены и взволнованы, но не только из-за смерти Рубины. Дело было в том, что госпиталь вернул им тело без глаз. Сотрудники сказали, что глаза выгрызли крысы, но Анвар Бхай и девушки, коллеги Рубины, понимали, что глаза украли ради роговицы, понимая, что свора шлюх и их сутенер едва ли станут обращаться в полицию. словно мало было этого несчастья – из-за того, что в свидетельстве о смерти был указан адрес заведения Анвара Бхая, ни одна купальня не взяла тело Рубины для обмывания, не нашли они и кладбища, готового предоставить девушке последний приют. Не сыскали и имама, который согласился бы прочесть над усопшей молитву.

Саддам сказал им, что они пришли в самое подходящее для них место. Он попросил их сесть, дал прохладительных напитков, а сам соорудил нечто вроде шатра за гостевым домом, использовав для этого старые дупатты Анджум, которые он набросил на четыре бамбуковых шеста. Внутри этого шатра он положил на возвышение из нескольких кирпичей лист толстой фанеры, покрыл этот помост полиэтиленом и попросил женщин принести тело Рубины. Потом он и Анвар Бхай в ведрах и старых банках из-под краски натаскали воды в этот импровизированный шатер для омовений. Труп уже окоченел, и поэтому одежду с Рубины пришлось срезать (у Саддама оказалась с собой бритва). Склонившись, словно стая ворон, над телом Рубины, женщины любовно обмыли ее – обработав мылом шею, уши и ноги. Так же любовно и ревниво все они следили, чтобы никто

не положил себе в карман украшения с ног, запястий и щиколоток (все драгоценности – настоящие и фальшивые – надо было отдать Анвару Бхаю). Мехрунисса очень переживала из-за того, что вода может оказаться слишком холодной. Сулекха все время просила Рубину открыть глаза, а потом снова их закрыть (чтобы зажегся божественный свет там, где раньше были ее глаза). Зинат отправилась покупать саван. Пока Рубину снаряжали в последний путь, сынок Анвара Бхая, одетый в джинсовый комбинезон и молитвенную шапочку, вышагивал взад и вперед, как русский кремлевский гвардеец, чтобы продемонстрировать всем свои новенькие (подделка) сиреневые кроксы с цветочками. Он с шумом вытаскивал хрустящие хлебцы из пакета, который дала ему Анджум. Время от времени он пытался заглянуть под импровизированный навес, чтобы понять, чем заняты его мать и другие тети (которых он, кстати сказать, никогда до этого в парандже не видел).

К тому времени, как тело Рубины было обмыто, высушено, умощено и завернуто в саван, Саддам с помощью двух наркоманов выкопал могилу вполне достойной глубины. Имам Зияуддин произнес молитву, и тело опустили в яму. Анвар Бхай, растроганный до глубины души, попытался насильно вручить Анджум пятьсот рупий. Она отказалась, отказался и Саддам. Но он был не из тех, кто легко упускает деловые возможности.

Не прошло и недели, как постоянный двор «Джаннат» начал по совместительству функционировать как похоронное бюро. Теперь здесь было помещение для омовений с асбестовой крышей и цементной платформой для тел. Здесь был постоянный запас благовонной глины «Мултани Митти» (которую многие предпочитают мылу). Здесь был имам, который мог в любое время суток произнести молитву над умершим. Правила для мертвых (впрочем, как и для живших на постоялом дворе) были весьма таинственными – одним теплые улыбки, другим свирепые ругательства, и никогда никто не мог сказать, на какую реакцию он нарвется. Был, правда, один отчетливый критерий: похоронное бюро «Джаннат» брало на себя заботы по погребению тех, кому Дуния отказала в имаме и месте на кладбище. Иные дни проходили без похорон, но иногда случался настоящий затор. Рекордом было пять похорон в один день. Иногда сами полицейские – чьи правила поведения были столь же иррациональны, как и у Анджум, – привозили к ней покойников.

Когда ночью, во сне, умерла уstad Кульсум Би, ее с большой пышностью похоронили на кладбище Хиджрон-Ка-Кханках в Мехраули, но Бомбейский Шелк была похоронена на кладбище Анджум. Хоронили здесь и многих других хиджр

со всего Дели.

(Таким образом, имам Зияуддин получил ответ на заданный когда-то, давным-давно, вопрос: «Скажите мне, люди, где вас хоронят, когда вы умираете? Кто обмывает ваши тела? Кто произносит молитвы?»)

Постепенно постоянный двор «Джаннат» и одноименное похоронное бюро стали таким привычным фрагментом пейзажа, что никто не оспаривал их прав на существование. Они существовали. Это был упрямый и неоспоримый факт. Непреложная данность. Когда на восемьдесят седьмом году жизни умерла Джаханара-бегум, молитву над ней произнес имам Зияуддин. Похоронили Джаханару-бегум рядом с Мулакатом Али. И Басмала, когда умерла, тоже была погребена на кладбище Анджум. Здесь похоронили даже барана Зайнаб, который мог бы с полным правом попасть в Книгу рекордов Гиннесса, так как околел от естественной причины (колики), пережив в Шахджаханабаде рекордные шестнадцать Курбан-байрамов. Правда, заслуга в этом была, естественно, не его самого, а его маленькой хозяйки. Но в Книге рекордов Гиннесса все равно нет такой категории, как долгожительство жертвенных баранов.

Несмотря на то что Анджум и Саддам делили один дом (и даже одно кладбище), они редко проводили время вместе. Анджум с удовольствием предавалась лени, а Саддам, который разрывался между множеством дел (кормление голубей он оставил как занятие абсолютно неприбыльное), постоянно жаловался на нехватку времени и к тому же всеми фибрами души ненавидел телевизор. В одно не совсем обычное утро вынужденного безделья Саддам и Анджум сидели рядом на сиденье старого красного такси (они пользовались им как диваном), пили чай и смотрели телевизор. Было это пятнадцатого августа, в День независимости. Маленький и робкий премьер-министр, сменивший шепелявого поэта-премьера (партия, членом которой был новый министр, официально не считала Индию страной индуистов), обратился к нации со стены Красного форта. Сегодня был как раз тот день, когда эту замкнутую часть города оккупировал остальной Дели. Огромные толпы, организованные правящей партией, буквально затопили Рамлилу. Пять тысяч школьников, одетые в цвета национального флага, слаженно выполняли упражнения с цветами. Мелкие агенты влияния и такие же мелкие чиновники, хотевшие, чтобы их увидели по телевизору, уселись в первых рядах, демонстрируя свою близость к власти и желание конвертировать эту близость в выгодные сделки – политические и

финансовые. Несколько лет назад, когда партия фанатиков потерпела поражение на выборах, Анджум была вне себя от радости и впала в почти неземное обожание робкого экономиста, сикха в синем тюрбане, сменившего шепелявого поэта-премьера. То, что новый премьер был похож на загнанного в силки кролика, лишь усиливало это поклонение. Но прошло время, и Анджум решила, что слухи о новом премьере были чистой правдой, – она поняла, что он всего лишь марионетка, висящая на ниточках, за которые дергают совсем другие люди. Бессилие его становилось еще более заметным на фоне темных туч, сгущавшихся на политическом горизонте. Черный удушливый туман расползлся по улицам, сея тревогу. Гуджарат ка Лалла по-прежнему был главным министром Гуджарата. С каждым днем его манеры становились все более надменными, а в речах все отчетливее звучало желание отомстить мусульманам за многовековое господство. В каждой своей речи он не забывал упомянуть окружность своей грудной клетки (пятьдесят шесть дюймов). Почему-то это действительно производило на людей впечатление. Ходили слухи, что он готовит марш на Дели. В мнении относительно Гуджарата ка Лаллы Анджум и Саддам были едины.

Анджум с неудовольствием смотрела на Загнанного Кролика (у которого, кажется, вообще не было грудной клетки), стоявшего под колпаком из пуленепробиваемого стекла под нависавшей громадой старинного форта и изливавшего на толпу бесконечные цифры показателей импорта и экспорта. Толпа нетерпеливо внимала, не понимая ни единого слова. Говорил премьер, как заводная кукла. Двигалась только его нижняя челюсть, остальные части лица и тела оставались абсолютно недвижимыми. Кустистые седые брови казались приклеенными к очкам. Во все время речи выражение его лица ни разу не изменилось. В конце речи он нерешительным движением приподнял правую руку и без всякого выражения произнес: «Джай Хинд!» («Победа Индии!»). Стоявший рядом солдат ростом не ниже семи футов и с топорщившимися усами в размах крыльев среднего альбатроса выхватил из ножен саблю и отсалютовал, чем, как показалось Анджум, поверг премьера в неопикуемый ужас. Когда он уходил, двигались только его ноги, как двигалась во время речи только челюсть. Анджум, скривившись от злости, выключила телевизор.

– Пойдем на крышу, – торопливо предложил Саддам, чувствуя, что у Анджум может в очередной раз перемениться настроение и тогда к ней нельзя будет приблизиться и на километр.

Он пошел впереди, прихватив с собой старый коврик и несколько жестких подушек в цветастых наволочках, пропахших прогорклым бриолином. Тянуло прохладным ветерком, а в небе уже плавали запущенные по случаю Дня независимости воздушные змеи. Несколько змеев поднялись и над кладбищем, и это создавало какую-никакую праздничную атмосферу. Анджум взяла с собой коврик с горячим чаем и транзисторный приемник. Они с Саддамом (он, как обычно, был в темных очках) улеглись на коврик и принялись смотреть в грязное небо, усеянное яркими точками бумажных змеев. Рядом с ними, словно отдыхая от праведных трудов, развалился Биру (иногда его называли и Руби), пес, которого Саддам обнаружил на улице. В тот момент у собаки были совершенно ошалевшие глаза, а из всего тела торчали какие-то пластиковые трубки. Видимо, пес пережил какое-то издевательство в виварии какой-то фармацевтической фирмы и сумел сбежать. Это был бигль, но был он настолько истрепан и изможден, что казался рисунком, который кто-то из всех сил старался стереть. Яркий черно-бело-коричневый окрас бигля был подернут тусклой серой дымкой, что, возможно, и не имело никакого отношения к лекарствам, которые на нем испытывали. Когда Биру поселился на постоянном дворе «Джаннат», у него были частые эпилептические припадки, он непрерывно фыркал и ужасно чихал. Всякий раз, когда пес оправлялся от очередного припадка, в его собачьей натуре проглядывал характер – иногда дружелюбный, иногда злобный, иногда апатичный, а иногда и просто ленивый. Казалось, он перенял все черты своей новообретенной хозяйки. Со временем припадки стали реже, и Биру превратился в типичного ленивого пса. Правда, чихать он не перестал.

Анджум налила в блюдце чай, подула, чтобы остудить, и поставила перед псом. Он шумно вылакал теплую жидкость. Он вообще ел и пил все, что ела и пила Анджум, – бирьяни, корму, самосу, халву, фалуду, фирни, замзам, манго летом и апельсины зимой. Это было вредно для его тела, но целительно для души.

Ветер усилился, и змеи стали парить в вышине быстрее, а потом начался непереносимый для Дня независимости мелкий дождь. Анджум взревела, словно желая прогнать незваного гостя: «Ай Хай! Проклятый сучий дождь!», Саддам рассмеялся, но ни один из них не сдвинулся с места. Им хотелось посмотреть, начнется ли сильный дождь. Он не начался. С неба немного покапало, и морозящий дождик прекратился так же быстро, как и начался. Анджум принялась рассеянно гладить Биру, стирая капельки с его шерсти. Дождь почему-то напомнил ей о Зайнаб, и Анджум улыбнулась. Она – что было очень для нее нехарактерно – принялась рассказывать Саддаму историю о мосте (в весьма сокращенном и отредактированном виде), о том, как любил ее маленький

Бандикут. Солнечно улыбаясь, она описывала проделки Зайнаб, говорила о ее любви к животным, о том, как быстро она освоила английский в школе. Когда воспоминания стали совсем радостными, голос(а) Анджум вдруг задрожал(и), а в глазах заблестели слезы.

– Я была рождена, чтобы стать матерью, – рыдая, произнесла она. – Вот увидишь, настанет день, и великий Аллах подарит мне младенца. Я твердо это знаю.

– Как это возможно? – рассудительно спросил Саддам, даже не подозревая, что ступает на зыбкую почву. – Хакикат бхи кой чиз хоти хай. («Есть же такая вещь, как реальность».)

– Но почему нет? Черт возьми, почему нет? – Анджум села и посмотрела Саддаму в глаза.

– Я просто говорю... Я хотел сказать, что на самом деле...

– Если ты можешь быть Саддамом Хусейном, то я смогу быть матерью, – в голосе Анджум не было злобы, она произнесла это с кокетливой улыбкой, демонстрируя свой ослепительный белый клык и темные, красноватые резцы. Но в этой кокетливости прозвучала сталь.

Саддам лениво приподнялся. Он нисколько не встревожился, но его заинтересовало, как много она о нем знает.

– Когда ты падаешь, перейдя грань, как все мы, считая и нашего Биру, – снова заговорила Анджум, – ты уже не можешь остановить падение. Падая, ты будешь хвататься за других падающих людей. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. Место, где мы живем, место, ставшее нашим домом, – это место падших людей. Здесь нет хакикат. Арре, даже мы сами не вполне реальны. На самом деле нас нет.

Саддам промолчал. Он любил Анджум больше, чем кого бы то ни было на этом свете. Он любил ее речь, любил слова, какие она выбирала, ему нравились ее подвижный рот, ее накрашенные губы, шевелящиеся над дурными зубами. Он любил ее забавный сверкающий клык, любил слушать, как она декламирует стихи на урду, большую часть – если не все – которых он просто не понимал.

Саддам не знал стихов и почти не понимал урду. Но зато он знал множество других вещей. Он знал, как ободрать корову или буйволицу, не повредив шкуру. Он знал, как надо ее засолить и задубить раствором лайма и танина, чтобы получилась мягкая и прочная кожа. Он знал, как определить на вкус качество дубящей жидкости. Он знал, как сушить кожу, как очищать ее от шерсти и жира, как ее отбеливать, как мять и полировать ее до ослепительного блеска. Знал он и что тело человека содержит от четырех до пяти литров крови. Он видел, как эта кровь лилась из людей и растекалась по земле за полицейским постом в Дулине, на шоссе Дели – Гургаон. Странно, но лучше всего он запомнил вереницу дорогих машин и мечущихся в свете фар насекомых. Еще он помнил, что никто не остановился, чтобы помочь.

Он понимал, что не было ни плана, ни простого совпадения в том, что он попал в это место Падших Людей. Это была волна судьбы.

– Кого ты хочешь обмануть? – спросила его Анджум.

– Только Бога, – улыбнувшись, ответил Саддам. – Не тебя.

– Произнеси калиму... – величественно, словно император Аурангзеб, приказала ему Анджум.

– Ла илаха... – заговорил Саддам, но потом умолк, как хазрат Сармад. – Дальше не знаю. Еще не выучил.

– Ты чамар, как и все эти парни из морга. Ты не солгал этой суке харамзади Санджите-мадам. Ты назвал ей свое настоящее имя. Ты лжешь мне, но я не могу понять зачем, потому что мне наплевать, кто ты – мусульманин, индус, мужчина, женщина. Мне все равно, из какой ты касты. Да будь ты хоть очком верблюда! Но почему ты называешь себя Саддамом Хусейном? Знаешь, он был изрядной сволочью.

Анджум прибегла к слову «чамар», а не к более политкорректному «далит», которое стали употреблять в последние годы для обозначения тех, кого правоверные индусы считали неприкасаемыми. Правда, следуя своим правилам, она и себя называла исключительно хиджрой. Она не видела проблемы в употреблении слов «хиджра» или «чамар».

Некоторое время они лежали рядом и молчали, а потом Саддам решил поведать Анджум историю, которую он до этого не рассказывал никому, – историю об оранжевых попугаях и дохлой корове. Это тоже была история о везении, не о везении мясников, но о чем-то очень похожем.

– Ты права, – сказал Саддам Анджум. Он действительно солгал ей и сказал правду суке харамзади Санджите-мадам. Саддам Хусейн – это вымышленное имя, а на самом деле его и правда зовут Даячанд. Он родился в семье чамаров – кожевников – в деревне Бадшахпур в штате Харьяна, в паре часов езды от Дели.

Однажды, после телефонного звонка, он, его отец и еще три друга отца взяли напрокат фургон и отправились на нем в соседнюю деревню, забрать на какой-то ферме труп издохшей коровы.

– Мы всегда этим занимались, – сказал Саддам. – Когда у какого-нибудь фермера из более высокой касты сдыхала корова, он звонил нам, чтобы мы забрали труп. Они же сами не могут оскверниться прикосновением к дохлому животному.

– Да, да, я знаю, – с плохо скрытым восхищением перебила его Анджум. – Они все такие чистюли, такие недотроги – не едят лук, чеснок, мясо...

Саддам не обратил внимания на эту реплику.

– Ну вот, значит, нам надо было поехать в ту деревню, забрать труп, ободрать его и сделать из шкуры кожу... Дело было в 2002 году. Я тогда еще ходил в школу. Ты лучше меня знаешь, что тогда творилось... как все это выглядело. Твое несчастье произошло в феврале, а мое – в ноябре. Это было на праздник Дашахра. По дороге мы проехали Рамлилу, где на площади были установлены огромные чучела демонов – Равана, Мегхнада и Кумбхакарана. Эти чучела высотой были с трехэтажный дом, а вечером их должны были взорвать.

Мусульманке из Старого Дели не стоило много рассказывать об индуистском празднестве девяти ночей – Дашахра. Его отмечали ежегодно в Рамлиле, в пригороде Дели, сразу за Туркменскими воротами. Каждый год чучела Равана, десятиглавого демонического царя Ланки, его брата Кумбхакарана и сына Мегхнада вырастали до невообразимой величины и начинались взрывчаткой. С каждым годом Рамлила, история богочеловека Рамы, царя Айодхьи, победителя Равана, история, бывшая для индусов историей победы Божества над Злом,

разыгрывалась со все большей агрессивностью и все более пышно. Спонсоры явно не жалели денег. Некоторые отважные ученые предположили, что на самом деле Рамлила была всего лишь мифологизированной историей, что злобные демоны были на самом деле темнокожими дравидами – туземными правителями, а индийские боги, победившие их и обратившие в неприкасаемых и в другие угнетаемые касты, обязанные прислуживать новым правителям, были арийскими завоевателями. В подтверждение своих предположений ученые ссылались на деревни, в которых местные жители поклонялись божествам, включая и Равана, которых в индуизме считали демонами. В господствовавшей политической обстановке простым людям не надо было быть великими учеными – пусть даже они и не могли выразить это словами, – чтобы понимать, что в этом неуклонном возвышении Попугайского рейха, независимо от того, что говорилось в писаниях и чего в них не говорилось, оранжево-желтые попугаи считали злобными демонами не просто каких-то древних туземных царей, а всех, кто не был индусом, включая, естественно! – жителей Шахджаханабада.

Когда чучела взрывали, оглушительный грохот прокатывался по узким улочкам Старого города и мало находилось таких, кто не понимал, что все это должно было означать.

Каждый год, наутро после того, как Добро побеждало Зло, Ахлам Баджи, повитуха, ставшая бродячей королевой с грязными волосами, отправлялась в Рамлилу покопаться в мусоре и всегда возвращалась с луками и стрелами, а иногда с огромными искусственными усами, таким же огромным глазом, рукой или с мечом, вызывающе торчавшим из ее пакета из-под удобрений.

Так что, когда Саддам упомянул Дашахра, Анджум сразу поняла все страшные и разнообразные значения этого слова.

– Мы легко нашли дохлую корову, – продолжил свой рассказ Саддам. – Это всегда легко, мы находим труп по зловонию. Труп мы погрузили в фургон и поехали домой. По дороге мы остановились у полицейского участка в Дулине, чтобы заплатить начальнику давно оговоренную сумму – его долю. Начальника участка звали Сехрават. Но в тот день он запросил больше. Не просто больше, а в три раза больше. Это означало, что мы просто потеряем все деньги, потому что не смогли бы продать кожу за такую сумму. Мы хорошо знали этого Сехравата. Я не знаю, что тогда на него нашло: может быть, ему были нужны деньги на выпивку – отметить Дашахра, может быть, у него были долги – не знаю. Может, он просто хотел воспользоваться политической ситуацией. Отец и его друзья

попытались его умаслить, но он не хотел ничего слушать. Он страшно разозлился, когда они сказали, что у них просто нет с собой таких денег. Он арестовал их за «убийство коровы» и загнал в камеру. Меня полицейские не тронули. Отец сохранял полное спокойствие, и я тоже не стал тревожиться. Я ждал на улице, уверенный, что в участке сейчас идет отчаянный торг, который закончится каким-нибудь соглашением. Прошло два часа. Мимо меня проходили толпы людей, направлявшихся на вечерний фейерверк. Некоторые были наряжены богами – Рамой, Лакшманой, Хануманом. Маленькие дети были вооружены луками и стрелами, на некоторых красовались обезьяньи хвосты, а лица были вымазаны красной краской. Лица других участников были выкрашены в черный цвет – они играли демонов; все шли участвовать в Рамлиле. Проходя мимо нашего фургона, они дружно зажимали носы – труп коровы сильно вонял. На закате загремели взрывы и раздались ликующие вопли толпы. Я тогда очень жалел, что не смог участвовать в празднике. Но отца и его товарищей все не было. А потом – я не знаю, как это случилось, может быть, полицейские распространили слух или просто позвонили нескольким людям – около полицейского участка начала собираться толпа, требовавшая выдать ей «убийц коров». Доказательством для них быладохлая корова в фургоне, нестерпимо вонявшая на всю округу. Толпа заняла шоссе, и движение остановилось. Я не знал, что мне делать, не знал, куда спрятаться, и смешался с толпой. Люди начали выкрикивать: «Джай Шри Рам!» и «Ванде Матарам!» К этому кличу присоединялось все больше и больше народа – толпа начала приходить в неистовство. Какие-то люди ворвались в полицейский участок и выволокли на улицу отца и трех его друзей. Их начали избивать – сначала кулаками и ногами, а потом металлическими прутьями и домкратами. Я не видел, что происходило, но слышал их крики...

Саддам посмотрел Анджум в глаза.

– Я никогда в жизни не слышал ничего похожего... Это был странный, почти животный крик, в нем не было ничего человеческого. Но потом рев толпы заглушил его. Но мне не надо ничего тебе рассказывать, ты ведь и сама все понимаешь... – голос Саддама дрогнул, теперь он говорил почти шепотом. – Все стояли и смотрели. Никто даже не попытался их остановить.

Дальше Саддам говорил о том, что, когда толпа покончила с «убийцами коров», все стоявшие на дороге машины зажгли фары, словно празднуя славную победу, и двинулись вперед, разбрызгивая кровь, как дождевую воду. Кровь его отца текла по дороге, словно кровь на праздник жертвоприношения.

– Я был частью толпы, убившей моего отца, – с трудом выдавил из себя Саддам.

Анджум почувствовала, что вокруг нее снова вот-вот поднимутся гудящие стены покинутой ею крепости с мрачной башней-тюрьмой. Они с Саддамом теперь слышали биение сердец друг друга. Слов не было, Анджум не могла даже выразить сочувствие. Но Саддам понимал, что она внимательно его слушает. Помолчав, он снова заговорил:

– Через несколько лет моя мать, и без того не очень здоровая, умерла, и я остался на попечении дяди и бабушки. Я бросил школу, украл немного денег у дяди и убежал в Дели. Там я жил, как нищий, не меняя одежды, с несколькими рупиями в кармане. Мной владела только одна мысль – убить эту сволочь Сехравата, и я его, рано или поздно, убью. Я ночевал на улицах, мыл грузовики, а несколько месяцев даже работал на очистке канализации. Потом мой друг Нирадж, мой односельчанин, – он теперь работает в муниципальной корпорации, и ты его знаешь...

– Да, – Анджум кивнула головой, – такой высокий красивый парень...

– Да, он. Нирадж хотел стать фотомodelью, но там надо платить такие взятки... Сейчас он водитель грузовика в муниципальной корпорации. Но он помог мне устроиться на работу в морг, где мы с тобой познакомились... Я прожил в Дели уже несколько лет, когда однажды забрел на какую-то выставку и там посмотрел телевизор – шли вечерние новости. Показывали, как вешали Саддама Хусейна. Я ничего о нем не знал, но на меня произвело неизгладимое впечатление мужество, с каким он встретил смерть. Когда я купил свой первый мобильный телефон, я попросил хозяина магазина найти то видео и загрузить его в телефон. Я много раз потом его смотрел. Мне хотелось быть таким же, как он. Я решил стать мусульманином и взять его имя. Я чувствовал, что это придаст мне храбрости сделать то, что я хочу сделать, и расплатиться за это с таким же достоинством, как Саддам Хусейн.

– Саддам Хусейн был сволочью, – сказала Анджум. – Он убил много людей.

– Может быть, но он был храбрым... Вот, посмотри.

Саддам извлек из кармана свой новенький смартфон с большим экраном и запустил видео. Чтобы Анджум было лучше видно, он прикрыл экран от солнца

сложенными лодочкой ладонями. В телефон был закачан телевизионный ролик, начинавшийся с рекламы увлажняющего крема – смазливая девица с блаженной улыбкой намазывала вазелином локти и стопы. Потом пошла реклама Департамента туризма Джамму и Кашмира. Люди в теплой одежде катились на санях вниз по заснеженному склону. Голос за кадром вещал: «Белизна, сказка, восторг!» Потом на экране возник телевизионный ведущий и что-то произнес по-английски, и Анджум увидела Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака. Он выглядел очень элегантно в черном костюме, белой рубашке и с черной, словно присыпанной перцем, седеющей бородой. Он возвышался над окружавшими его палачами в черных балаклавах. Руки Саддама были связаны за спиной. Он стоял молча, пока один из этих людей повязывал ему на шею черный шарф, чтобы грубая веревка не содрала кожу с шеи во время казни. Этот шарф сделал Саддама еще элегантнее. Окруженный бормочущими что-то людьми в балаклавах, Саддам направился к эшафоту. Через голову ему на шею накинули петлю и затянули ее. Хусейн произнес молитву. На лице его, перед тем как он провалился в люк, было написано полное презрение к палачам.

– Я тоже хочу быть такой сволочью, – сказал Хусейн. – Я хочу сделать то, что должен сделать, а потом, если мне придется за это расплатиться, так же, как он, встретить смерть.

– У меня есть друг. Он живет в Ираке, – сказала Анджум, которую куда больше заинтересовал телефон Саддама, чем видео казни Хусейна. – Его зовут Гуптаджи. Он присылает мне фото, – с этими словами она достала из кармана телефон и показала фотографии, которые Д. Д. Гупта регулярно присылал ей. – Вот Гуптаджи в своей квартире в Багдаде, Гуптаджи и его иракская подруга на пикнике, а это взрывозащитные стены, которые Гуптаджи возводит для американской армии. Некоторые выглядят как новые, а некоторые уже испятнаны пулями и граффити.

На одной из стен были размашисто написаны слова какого-то американского генерала: «Будьте профессиональными, будьте вежливыми и всегда держите в голове план, как убить всех, кого вы встретите».

Анджум не умела читать по-английски. Саддам умел, если сосредоточивался. Но на этот раз он решил этого не делать.

Анджум покончила с чаем и откинулась на спину, закрыв руками глаза. Казалось, она задремала, но это было не так. Ее снедала тревога.

– Если ты этого раньше не знал, – заговорила она после довольно долгого молчания, словно продолжая разговор – впрочем, так оно и было, если не считать того, что это было продолжение ее внутреннего диалога, – то я тебе скажу, что мы, мусульмане, тоже те еще мерзавцы, такие же, как и все прочие. Но думаю, что еще одно убийство едва ли что-то прибавит к нашему недоброму имени, оно и так замарано. Как бы то ни было, не спеши, подумай.

– Я подумаю, – отозвался Саддам, – но Сехрават должен умереть.

Саддам снял солнцезащитные очки и зажмурился от яркого света. Он включил на телефоне песню из старого индийского фильма и подпевал, без слов, но очень уверенно. Биру долакал холодный чай и потрусил прочь с листочком чая, приклеившимся к носу.

Когда солнце начало сильно припекать, они вернулись в дом, где продолжили витать в воспоминаниях о своей жизни, словно пара астронавтов, презревших законы тяготения, – ограниченные лишь фиолетовыми стенами и светло-фисташковыми дверями.

Но это не значило, что у них не было никаких планов.

Анджум ждала смерти.

Саддам ждал возможности убить.

А далеко от них, в темном густом лесу, младенец ждал срока, чтобы родиться на свет...

3. Рождение

На каком языке дождит над скорбными городами?[18 - Из «Книги вопросов».
(Пер. Павла Грушко.)]

Пабло Неруда

Стояло мирное время. Во всяком случае, так говорили.

Все утро знойный ветер гулял по городским улицам, поднимая тучи мелкой пыли, гоняя по мостовой крышечки пластиковых бутылок и недокурные сигареты, швыряя все это в стекла автомобилей и в глаза мотоциклистам. Потом ветер стих, и солнце, поднявшееся уже довольно высоко, принялось немилосердно поджаривать город сквозь марево, извивавшееся в воздухе, как танцовщица, исполняющая танец живота. Люди ждали ливня, который обычно всегда приходил после пыльной бури, но ливня не было. Через плотный строй хижин, жавшихся друг к другу на берегу реки, пронесся огонь, в одно мгновение сожрав более двух тысяч домишек.

Но кассия цвела ярким желтым цветом. Каждым знойным до умопомрачения летом она протягивала свои ветки к рыжему раскаленному небу и шептала: «Плывать я хотела на тебя».

Девочка появилась на свет очень неожиданно, немного позже полуночи. Не пели ангелы, и никакие мудрецы не явились, чтобы принести дары. Но на востоке ее появление возвестили тысячи поднявшихся в небо звезд. Мгновение назад ее еще не было, а теперь вот она, извольте – на бетонной мостовой, в колыбели из мусора – серебристой сигаретной фольги, полиэтилена и пакетов из-под чипсов «Анкл чипс». Она лежала голая в пятне света, а над ней, в этом неоновом свете вился столб мошкары. Кожа ее была иссиня-темной, лоснящейся, как у тюленя. Она уже пришла в сознание, бодрствовала, но молчала, что было странно для такого крошечного создания. Вероятно, уже в эти первые краткие мгновения своей жизни она поняла, что слезы, ее слезы, едва ли кого-нибудь тронут в этом мире.

За девочкой следили привязанная к ограде тощая белая кляча, маленькая шелудивая собачонка, садовая ящерица цвета бетона, две пальмовые белки, которым вообще-то уже давно было пора спать, и – с торчащего из-под крыши шеста – раздутая яйцами паучиха. Кроме всей этой публики рядом с девочкой, кажется, не было никого.

Город простирался на многие мили вокруг нее. Даже не город, а тысячелетняя ведьма, дремлющая, но еще не уснувшая, даже в этот поздний час. Серые бетонные эстакады дыбились, словно змеи на голове этой престарелой Медузы Горгоны, переплетаясь в желтом натриево-неоновом мареве. Тела спавших

бездомных обрамляли мостовые. Люди лежали друг за другом, упираясь головами в ноги лежавших рядом, и так до самого горизонта. В морщинах дряблой кожи скрывались старые, заплесневелые тайны. Каждая морщина была улицей, а на каждой улице творился карнавал. Каждый скрипящий от артрита сустав являл площадь, где ежечасно разыгрывались представления о любви и безумии, глупостях, восторге и неописуемых жестокостях. Эти истории разыгрывались здесь много столетий. Но это же стало и зарей возрождения. Новые хозяева старой карги решили скрыть набухшие узловатые варикозные вены под узорчатыми импортными чулочками, запихнуть обвисшие груди в упругие чашки новомодных бюстгалтеров и втиснуть подагрические ноги в остроносые туфельки на высоченных шпильках. Хозяевам очень хотелось, чтобы страшная ведьма вихляла пораженными артритом бедрами, а губы сложила в непривычную оптимистическую и приветливую улыбку. В это лето Старую Бабку решили превратить в молоденькую шлюшку.

Как же иначе, ведь ей же суждено стать суперстолицей новой мировой супердержавы. «Индия! Индия!» Это заклинание сыпалось отовсюду – с телевизионных экранов, из музыкальных видеофильмов, его можно было прочесть в газетах и услышать на деловых конференциях и ярмарках современных вооружений, на экономических конклавах и встречах по проблемам окружающей среды, на книжных ярмарках и конкурсах красоты. «Индия! Индия! Индия!»

Растянутые по всему городу огромные плакаты, щедро оплаченные одной английской газетой и фирмой, производящей отбеливающий кожу крем (он продавался тоннами), гласили: «Наше время пришло». Появилась сеть магазинов «Кмарт». На подходе были «Уолмарт» и «Старбакс», а в рекламе «Бритиш эйрвейз», мелькавшей в телевизоре, люди мира (белый, смуглый, черный и желтый) распевали Гаятри-мантру[19 - Гаятри – ведийский стихотворный размер. Гаятри-мантра – молитва богу Савитару, ведийскому божеству, перенесенная в индуизм.]:

Ом бхур бхувах сваха

Тат савитур вареньям

Бхарго девасья дхимахи

Дхийо йо нах прачодаят

О Бог, податель жизни,
Утешитель в боли и скорби,
Творец счастья,
О Создатель Вселенной,
Да узрим мы высший свет, сжигающий грех,
Да, поведешь ты наш разум в верном направлении.

(И да пусть все летают самолетами «Бритиш эйрвейз»)

После окончания мантры люди мира соединяли перед собой ладони и произносили «намасте», каждый со своим акцентом и выговором, улыбаясь при этом, как улыбаются новым иностранным постояльцам носящие тюрбаны швейцары пятизвездочных отелей, с огромными, как у махараджей, усами. При всем том, по крайней мере в рекламе, историю переворачивали вверх дном. («Кто теперь кланяется? Кто улыбается? Кто подает прошения? И самое главное, кто их принимает?») Лучшие граждане Индии тоже улыбались в своих снах. «Индия! Индия!» – скандировали они в своих сновидениях, как толпы на соревнованиях по крикету. Главный барабан задал ритм... «Индия! Индия!» Мир встал на ноги, захлебываясь ревом одобрения. Небоскребы и стальные заводы вырастали там, где раньше были леса, воды рек разливали в бутылки и продавали в супермаркетах, рыбу закатывали в жестяные банки, горы разрабатывали, превращая их в сверкающие ракеты. Огромные плотины освещали города, как рождественские елки. Все были счастливы.

Лежавшие вдали от огней и рекламных сполохов деревни пустели. Города тоже пустели. Миллионы людей снялись с насиженных мест, но никто толком не знал, куда идти.

«Людям, которые не могут позволить себе жизнь в городах, в них не место», – провозгласил член Верховного суда и немедленно приказал выселить из города всех бедняков. «Париж был настоящей помойкой до 1870 года, когда были снесены все трущобы, – вторил судье заместитель губернатора, аккуратно укладывая длинную прядь волос на лысеющую голову, чтобы прикрыть плешь, которой он сильно стеснялся. (Вечерами, когда он ходил в бассейн, эта прядь

плыла рядом с ним в хлорированной воде.) – И посмотрите на Париж теперь».

Лишних людей начали изгонять.

В помощь полиции прислали несколько батальонов сил быстрого реагирования. Солдаты в странном небесно-голубом камуфляже (вероятно, для того, чтобы распугивать птиц) начали зачищать самые бедные кварталы.

Люди, жившие в трущобах, в поселках бродяг, в незаконных постройках, отчаянно сопротивлялись. Они перекапывали ведущие в их поселения дороги, заваливали их камнями и старыми сломанными вещами. Молодые люди, старики, дети, матери и бабушки, вооружившись палками и камнями, патрулировали входы в свои поселки. На одной дороге, перед выстроившимися для последнего штурма бульдозерами, жители натянули плакат: «Саркар ки маа ки чут» («Губернатор, катись в манду!»)

– Куда нам идти? – спрашивали лишние люди. – Вы можете убить нас, но мы никуда не уйдем, – говорили они.

Но их было слишком много для того, чтобы взять и просто их убить.

Вместо этого было решено сровнять с землей их дома, их двери и окна, их кустарные крыши и навесы, их горшки и сковородки, их аттестаты о школьном образовании, их продуктовые карточки, их брачные свидетельства, школы их детей, их работу, выражение их глаз – все это было сметено и уничтожено желтыми бульдозерами, привезенными из Австралии («роющими ведьмами», как прозвали люди этих чудовищ). Это были неподражаемые машины. Они могли раздавить историю, а потом вздыбить ее и создать заново, используя обломки, как строительный материал.

Вот так в лето своего обновления Старая Бабка была потрясена до основания.

Яростно соперничавшие между собой телевизионные каналы наперебой показывали картины потрясенного года под рубрикой «потрясающих новостей», и никто не замечал иронии. Телевизионные магнаты разослали своих неопытных, но красивых юных репортеров по всему городу, который эти молодые создания покрыли, словно яркая сыпь. Эти мальчишки и девчонки напористо задавали свои пустые, никчемные вопросы. Они спрашивали бедных, каково быть

бедными, бездомных – каково быть бездомными, голодных – каково быть голодными. «Бхай Сахиб, йех батаайе, аап ко кайса лаг раха хай...?» («Скажи, брат, каково чувствовать себя...?»)

Эксперты за деньги высказывали в эфире свои авторитетные мнения. «Кто-то должен платить за прогресс», – весомо говорили они.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Кичри – пряное индийское блюдо. В данном случае имеется в виду нечто сущностное, главное.

2

Индийская мебельная фирма.

3

Прежнее название Старого Дели.

4

Дарга – усыпальница.

5

Хазрат – лицо, обладающее высоким религиозным авторитетом.

6

Судьи и законоучителя.

7

Устад – учитель у мусульман Индии и Пакистана.

8

Чуок – рыночная площадь в индийских населенных пунктах.

9

Часть города, своего рода квартал.

10

Род куртки, предмет индийской национальной одежды.

11

Маленькое сумчатое животное, похожее на барсука. Обитает в Австралии и Новой Гвинее.

12

Пошла прочь!

13

Всего десять (англ.).

14

Имеется в виду премьер-министр Ваджпаи.

15

Раштрия сваямсевак сангх (Союз добровольных слуг Родины) – ультраправая националистическая организация, родоначальница нынешней правящей партии «Бхаратия джаната парти» (премьер-министр Моди, бывший в то время главным министром штата Гуджарат).

16

Накидка, покрывало.

17

Существо с головой слона и телом человека, сын Шивы и Парвати, бог мудрости в индуистском пантеоне.

18

Из «Книги вопросов». (Пер. Павла Грушко.)

19

Гаятри – ведийский стихотворный размер. Гаятри-мантра – молитва богу Савитару, ведийскому божеству, перенесенная в индуизм.

Купить: <https://tellnovel.com/arundati-roy/ministerstvo-naivysshego-schast-ya>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)